

Thom F. La Langue de Bois. – Paris: Julliard, 1987.

Thom F. Newspeak. The Language of Soviet Ideology. – London: The Claridge Press, 1989.

Turpin J. Reinventing the Soviet Self. Media and Social Change in the Former Soviet Union. – Westport: Praeger, 1995.

Urban M. Political language and political change in the USSR: notes on the Gorbachev leadership // The Soviet Union: Party and Society / Ed. by P. J. Potichnyj. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Urban M., The Russian Free Press in the Transition to a Post-Communist Society. The Journal of Communist Studies. – 1993. – Vol. 9. – № 2.

Urban M. The Structure of Signification in the General Secretary's Address: A Semiotic Approach to Soviet Political Discourse // Coexistence. – 1987. – Vol. 24. – № 3.

Weiss D. Alle vs. einer. Zur Scheidung von good guys und bad guys in der sowjetischen Propagandaspache // Slavistische Linguistik 1999. Referate des XXV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Konstanz / ed. W. Breu. – München, 2000b.

Weiss D. Der alte Mann und die neue Welt. Chruščev's Umgang mit „alt“ und „neu“ // Vertogradъ mnogocvĕtnyi. Festschrift für H. Jachnow / W. Girke, A. Guski e.a. (eds.). – München, 1999a.

Weiss D. Die Entstalinisierung des propagandistischen Diskurses (am Beispiel der Sowjetunion und Polens) // Schweizer. Beiträge zum XII. Internationalen Slavisten-Kongress 1998 in Krakau / Locher, J.P. (ed.). – Frankfurt/Bern, 1998.

Weiss D. Die Verwesung vor dem Tode. N.S. Chruščev's Umgang mit Fäulnis-, Aas- und Müllmetaphern // Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen) / D. Weiss (ed.). – Bern/Frankfurt, 2000a.

Weiss D. Mißbrauchte Folklore? Zur propagandistischen Einordnung des „sovetskij fol'klor“ // Slavistische Linguistik 1998. Referate des XXIV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Wien, 15.-18.9.1998. / R. Rathmayr, W. Weitlaner (eds.). – München, 1999b.

Weiss D. Personalstile im Sowjetsystem? Stalin und Chruščev im Vergleich // Wege der Kommunikation in der Geschichte Osteuropas. Festschrift für C. Goehrke / (Hrsg.) N. Boškowska, P. Collmer, S. Gilly u.a. – Bern/Frankfurt, 2002.

Weiss D. Prolegomena zur Geschichte der verbalen Propaganda in der Sowjetunion // Slavistische Linguistik 1994. Referate des 20. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens / D. Weiss (ed.). München, 1995.

Walker E. W. Dissolution: Sovereignty and the Breakup of the Soviet Union. – Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

White S. The Effectiveness of Political Propaganda in the USSR // Soviet Studies. – 1980. – Vol. 32. – № 3.

Zemtsov I. Manipulation of a Language. The Lexicon of Soviet Political Terms. – Fairfax: Hero Books, 1984.

© Будаев Э.В., Чудинов А.П., 2007

Даниэль Вайс

Цюрих, Швейцария

Перевод: Анна Бернольд

**СТАЛИНИСТСКИЙ
И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
ДИСКУРСЫ ПРОПАГАНДЫ:
СРАВНЕНИЕ В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ**

(Настоящая публикация осуществлена в рамках проекта по исследованию истории вербальной пропаганды в Советском Союзе и Народной Польше при содействии Швейцарского Национального фонда с 1996 по 2001 гг. Кроме цитируемых здесь работ Р. Куммер [2000], В. Юровского [2000], [2001], а также самого автора, сюда относятся статьи, опубликованные в [Weiss 2000a], а также в «Forum für osteuropäische Zeit-und Ideengeschichte 5/1 2001»)

Abstract

This article tackles a challenging topic: how much does Stalinist propaganda have in common with the public discourse of the Third Reich, and in what respects do they diverge? At the surface, one certainly finds striking parallels: in both codes, the general tendency to phraseological boundness results in semantically identical expressions reflecting common preference for extreme values, for semantic totality, dynamic and militaristic metaphors, etc. But if we dive beneath this surface, we will detect much more important and deeply rooted ideological divergencies, all of which are reflected in different linguistic strategies. To mention but the most salient ones among them: both systems are fascinated by modern technology, but at the same time the Nazi regime propagates the return to nature and agrarian society, which is completely alien to Stalinism. In the same vein, in Nazi propaganda the opposition 'old vs. new' is by no means axiologically unequivocal since the cult of the new society contrasted sharply with the idealizing attitude towards the myths of Germanic history, which produced a revival of archaic social terms; again, this had no counterpart in Soviet Union, even if the rise of Soviet patriotism also led to the reevaluation of Russia's feudalistic past and engendered an archaizing "Soviet folklore" as the most exotic flower of propaganda. The same contradictory attitude marked the Nazi attitude to science: on the one hand, it served as the source of technological success, on the other hand, the Nazi propaganda praised the role of instinct as the decisive force; again, this kind of antiintellectualism was totally absent in Soviet Union. And finally, the linguistic manifestation of the mechanisms of terror (image of the enemy) and of the cult of personality in both systems reveals a host of essential divergencies which in the final account prevail on the seeming parallels.

Новый толчок к сравнительному исследованию фашистской и коммунистической диктатур был вызван дебатами вокруг «Чёрной книги коммунизма» [Courtois / Werth / Panné и др. 1998]. Как показывает обзор Д. Шмихен-Акермана [Schmiechen-Ackermann 2002], вопрос о

смысле и бессмыслии сопоставления национал-социалистической и фашистской итальянской системы с одной стороны, и советского строя с другой обсуждается сегодня как никогда остро. Споры вызывает не только *правомерность* сравнения как такового, но и *методология* сравнения: определение временных и географических рамок подобного сопоставления (то есть можно и нужно ли соотносить национал-социалистическую систему только со сталинским периодом или со всей советской историей, а также с историей других социалистических государств, например ГДР, или даже, как в «Чёрной книге», с Народным Китаем и кампучийскими «Красными кхмерами»), обоснованность применения понятия «тоталитаризм», определение значимости *личностного* компонента (Гитлер и Сталин) и соответствующих *аппаратов власти* и единых партий (НСДАП и КПСС), роли *культы личности, террора, границ претензий на господство, способности населения к сопротивлению* и т.д.

Принимая во внимание постоянное акцентирование неравнозначности историографического освещения данных дискурсов (что отчасти объясняется задержкой доступа к советским архивам, рассекреченным лишь после распада Советского Союза (В случае с некоторыми западными авторами, например, Д. Шмихен-Акерманом [2002] (см. выше), замечание об асимметричной ситуации в данной области исследования, очевидно, также связано с отсутствием доступа к русскоязычным источникам. В указанной монографии не учитывается ряд новых работ американских исследователей советского периода (в разделе «Оппозиция и сопротивление» речь идет лишь о фашизме и ГДР, Советский Союз в рассмотрении не входит))), можно отметить, что сравнительная перспектива в изучении обеих политических систем стала неотъемлемой чертой большинства исследований, породив значительное количество эмпирически обоснованных и достаточно убедительных наблюдений. В данном очерке использовались сравнительные биографии Гитлера и Сталина, созданные А. Буллоком [Bullock 1991] и (с психиатрической точки зрения) А. Ноймайром [Neumaier 1995]. Далее необходимо упомянуть подробнейшую монографию Д. Беринга [Bering 1982], в которой рассматривается история понятия «интеллигенция» в обеих идеологиях, а также ряд статей в [Emmerich/Wege 1995], посвященных техническому дискурсу гитлеровской и сталинской эпох.

Однако сопоставление соответствующих языков пропаганды продолжает оставаться «бедным пасынком» контрастивного подхода к национал-социалистической и коммунистической системам. При этом имеющиеся до сих пор статьи в тематических сборниках материалов научных конференций под редакцией

Р. Водак [Wodak 1989] и К. Штайнке [Steinke 1995] не привносят ясности в этот вопрос, так как в связи с узкоспециальной и гетерогенной направленностью этих работ они не охватывают всю тему в целом. Необходимо, следовательно, как можно более всесторонний контрастивный анализ языка пропаганды национал-социализма и советского «новояза»; только такой подход может дать удовлетворительный ответ на вопрос, существовал ли «язык тоталитаризма» в XX веке и каковы могут быть его диагностические признаки (Ср. аналогичный тезис И. Голомштока [1994], который утверждает, что «тоталитарное искусство» – в его понимании искусство Третьего рейха, Италии Муссолини и сталинизма – было, наряду с модернизмом, вторым доминирующим направлением в искусстве XX века). Настоящий очерк задуман как первый шаг в этом направлении. Сопоставление советского дискурса пропаганды ограничивается собственно сталинским периодом «новояза» (приблизительно 1930-1956 гг.) (Подробнее о ступенчатом процессе десталинизации советской пропаганды по направлению от периферии к центру канона в период между 1953 г. и 1956 г. ср. [Weiss 1998]. Нижняя граница (1930 г.) выбрана скорее произвольно; критерии периодизации здесь не совсем ясны, во всяком случае они не могут быть теми же, что и после смерти Сталина) с целью достижения максимальной сопоставимости не только с точки зрения временного периода (Что касается рассмотрения других социалистических государств, то возникновение соответствующих дочерних «новоязов» еще входит в поздний сталинский период, однако включение их в рассмотрение вряд ли приведет к новым выводам, поскольку они во многом оказываются дериватами советского оригинала. Слепое подражание оригиналу Польшей («powotowa») доходит до того, что нарушаются нормы собственного языка; об этом подробнее см. [Weiss 2003]), но и для наиболее полного раскрытия двух центральных тем: первая из них – это террор и формирование образа врага, а вторая – культ личности и культ фюрера. Нужно отметить, что с самого начала в центре внимания были скорее глубоко скрытые различия двух языков пропаганды, нежели их явные сходства, если исходить из предположения, что последние доминируют на поверхностном уровне, в то время как число первых растёт по мере приближения к предмету анализа. Мои ожидания в этом отношении совпали с мнением И. Кершоу о том, что сопоставление этих двух крайних форм современных диктатур скорее выявляет различия между двумя системами, нежели их сходства [Цит. по: Schmiechen-Ackermann 2002: 82]. Этим, разумеется, объясняются другие координаты отбора, чем если бы исходная гипотеза гласила, что в обоих случаях речь

идет о более или менее едином «тоталитарном языке».

В процессе исследования рассматривались различные источники: в электронной версии была доступна не только «Трилогия сталинизма» [Добренко 2000], а именно биография В.И. Ленина, биография И.В. Сталина и «Краткий курс истории КПСС», но и 12-томное собрание сочинений И.В. Сталина (www.magister.msk.ru/library/stalin/htm). Разумеется, данное предварительное исследование не имело целью количественный анализ как можно более репрезентативных данных, поэтому сведения о языке Третьего рейха были взяты исключительно из соответствующей тематической литературы, оказавшейся достаточно содержательной. В первую очередь, интересной представлялась объёмная лексикографическая разработка К. Шмиц-Бернинг [Schmitz-Berning 2000], в которой история отдельных слов прослеживается вплоть до XIX века: так, «духовные» корни лексикона национал-социализма ведут к основателю немецких спортивных союзов «Турнфатеру Яну», к молодёжному движению «Вандерфёгель» и т. п. Все ещё актуальными являются свидетельства современника В. Клемперера [Klemperer 1946/1982]; далее следует упомянуть материалы Л. Винклера [Winckler 1970], У. Мааса [Maas 1984], Г. Бауэра [Bauer 1988], К. Элиха [Ehlich 1995], а также Дж. Дизенера / Р. Гриза [Diesener / Gries 1996]. В дополнение к изданию К. Шмиц-Бернинг необходимо назвать ещё один лексикографический источник (хотя и меньший по объёму), а именно: словарь В. М. Мокиенко / Т. Г. Никитиной [1998], также посвященный теме советско-русского «новояза» сталинской эры, тогда как словарь И. Земцова [1985] по большей части не охватывает интересующий нас период; кроме того, собрание цитат К. Душенко [1996] также относится к сталинской эпохе. История лексикографического кодирования сталинистского «новояза» иллюстрируется и в [Купина 1995] на примерах из словаря Д. Н. Ушакова. Генезис отдельных политических языковых инноваций времён Сталина можно проследить из переписки И. В. Сталина с В. М. Молотовым, а также из протоколов заседаний политбюро (ср. [Weiss 2000б: 195]). Конкретные политические меры цензурного ведомства Третьего рейха в области языка документированы в виде так называемых нацистских инструкций прессе [Schmitz-Berning 2000: IX], в то время как имеющиеся сегодня в распоряжении источники по истории советской цензуры, в частности [Горяева 1997], содержат мало материалов, относящихся к нормативному регулированию «новояза».

В исследовании языка сталинизма использовались работы Е. Добренко [2000] и М. Вайскопфа [2000], источником материалов послу-

жили также наблюдения современников Л. Ржевского [1951] и А. и Т. Фесенко [1955]; картину проявлений культа личности в песнях о Сталине удачно дополняет Н. Щербинина [1998] (Подробнее о нацистском пропагандистском плакате см., например, [Heуen 1983]; о советском пропагандистском плакате сталинской эры см. прежде всего [Bonnell 1997], тогда как Ф. Кэмпфер [Kämpfer 1985] затрагивает только начальный период сталинизма). Рамки теоретического анализа диагностики и истории советского «новояза» определяют помимо [Sériot 1985] прежде всего работы самого автора, см. [Weiss 1986, 1995, 2000а и 2000б]. Следует особо отметить, что под термином «язык сталинизма» подразумевается не индивидуальный стиль Сталина, а стиль целой эпохи (к обоснованию ср. [Weiss 2002]).

1. Поверхностный уровень: параллели и схождения. Прежде чем обратиться к различиям между двумя языками пропаганды, представляется необходимым рассмотреть сначала их сходства. Одним из часто (и неспециалистами) отмечаемых признаков языка национал-социалистов является высокая степень предсказуемости или иначе:

1. Принцип фразеологической связности: Создаётся впечатление, будто фашистских риториков преследовал синдром навязчивых идей, что объясняется их стремлением расширять с помощью рекурсивных приёмов синтаксис всех членов предложения, несущих синтактико-семантическую роль, и отягощать их семантику. [...] Во многих случаях атрибуты – идиоматически устойчивы, т. е. определение становится украшающим эпитетом [Volmert 1995: 142-143]

Это отличительное свойство фашистского языка является отнюдь не единственным. Приведённая выше характеристика совпадает во многих аспектах (синтаксическое расширение, идиоматическая устойчивость, «навязчивые состояния») с моими собственными наблюдениями о советском «новоязе». Ср.: Наблюдается общая тенденция к *дву- или много-сложным* синтагмам. Существительное – «один в поле не воин». Как правило, к нему подбирается соответствующее определение или обстоятельство.... Таким образом, в новом языке преобладает присущий ему синтаксический *horror vacui*, который встречается практически в каждой форме бюрократического языка. [Weiss 1987: 273-274]

Функционирование этого типа фразеологической связи подробнее излагается там же с опорой на работы И.А. Мельчука [с. 270-274]. На с. 270 и далее отмечается, что это характерное свойство общественного дискурса в СССР уже давно было не только диагностировано, но и часто подвергалось критике. Так, приблизительно, писал в «Литературной газете» от 25.12.1954 К. И. Чуковский: «Если ты

написал "отражают", нужно прибавить "ярко"; если "протест", то "резкий", если "сатира", то "злая и острая". Десятка полтора таких готовеньких формул зачастую навязываются учащимся еще на школьной скамье...». Начало подобной языковой критике положил Г. Винокур [1925], первое сатирическое пародирование цитирует А. М. Селищев [1928: 41].

Учитывая широкое распространение схожих эпитетов, их общее приписывание к «украшающим» (см. выше цитату из [Volmert]) представляется не очень убедительным. Десятилетиями доминирующей функцией таких эпитетов является, по крайней мере в СССР, ритуальная функция в сочетании с функцией выражения преданности или принадлежности к властным структурам; в довершение всего, орнаментальные эпитеты в разные эпохи служили разным целям: агитации, во времена кампаний террора, и поддержания внешнего декорума власти в сталинский период (ср. атрибуты *родной*, *гениальный* и т. д.) (Показательным в этой связи является анализ Н. Щербининой [1998]. В. Клемперер [1946 / 1982: 129] предвосхищает в своей книге «Lingua Tertii Imperii» идею украшающего эпитета: «Такое впечатление, будто в гитлеровской империи каждый германец во всякое время излучал "солнечное" сияние, подобно тому как Гера у Гомера всегда "волоокая", а Карл Великий в "Песни о Роланде" – белобородый»).

2. Принцип языкового экстремизма. Далее возникает вопрос, что же в данном случае является *семантически* предсказуемым. Помимо ключевого понятия «отягощение» в вышеприведенной цитате из Фольмерта, важной является также вышеупомянутая цитата из К. И. Чуковского: здесь действует принцип языкового экстремизма. Иными словами: если значение вершинного имени или модифицируемого глагола представляет собой шкалируемую величину, то модификатор состоит из одного или более лексических либо грамматических (= суперлатив) интенсификаторов, которые показывают экстремум шкалы. Этому приёму можно найти множество примеров в обеих системах, ср. следующие устойчивые формулы национал-социалистической пропаганды:

(1а) неповторимые в мировой истории успехи; неслыханное в истории великое время; историческая речь; доверие верующих; негибаемое решение; непреклонная воля; брутальная решимость; беспощадная энергия; неповторимое славное прошлое и т. д.

О советско-русских соответствиях и их интерпретации в соответствии со значениями общепринятой в Московской Семантической Школе лексической функции Magn ср. [Weiss 1986]. Здесь можно привести несколько примеров, практически идентичных с их нацист-

ским вариантом (Ср. в особенности сочетания, содержащие элементы *мир* и *исторический*). На суперлативный характер немецких соответствий *Welt-* и *historisch* уже указывал В. Клемперер [1946 / 1982: 234] в LTI):

(1б) небывалый успех; всемирно-историческая победа; титаническая деятельность КПСС; беспощадная борьба; беззаветная преданность; действенные шаги; твёрдое и последовательное проведение в жизнь; полное и безоговорочное присоединение; неуклонный прогресс; незыблемая основа; величайшее благо; глубочайшая благодарность; целиком и полностью и т. д.

Тем не менее представляется необходимым отметить различия двух языков пропаганды. Нарастающее фортиссимо в случае языка национал-социалистов, очевидно, быстрее ведёт к изнашиванию отдельных интенсификаторов, что требует их повторного повышения: лексическое значение функции Magn, которое уже сигнализирует непревосходимый экстремум, дополнительно повышается грамматическим суперлативом. Ср.:

(1в) самые жизненно важные вопросы, самое возвышенное оправдание, громаднейшая концентрация сил, неслыханнейшие усилия; на веки вечные.

Примечательно, что НСДАП, по всей видимости, добивалась монополии на такого рода языковой экстремизм: так, Клемперер [Klemperer 1946: 233] в связи с этим замечает, что в Дрездене инструктивным письмом было запрещено использование превосходной степени в рекламных объявлениях; например, «самые квалифицированные специалисты» сокращалось до «квалифицированные кадры».

Для советского «новояза» еще со времен Ленина характерна другая разновидность суперлатива, а именно: «Суперлатив_{Sg} + из Суперлатив_{P1}» (тип *мудрейший из мудрейших*). Наряду с этим продуктивный способ семантической деривации новых качественных прилагательных из имеющихся относительных ведёт к образованию нового материала, обладающего признаком градуальности, ср. *вполне советский* [подр.: Weiss 1986: 316-318], *совсем ленинский* или (из московских показательных процессов) *самый падший из всех...* Синонимичные парные формулы типа «всех и всяких» или «всех и каждого» приводят нас к связующему звену между семантикой интенсификации и семантикой тотальности; см. ниже. Характерные для языка нацистов слова экстремальной семантики, такие как *фанатический*, *инфернальный*, *истерический* будут также рассмотрены ниже в главе 3. И тот, и другой принцип подчиняются в обоих языках третьему принципу, который в свою очередь составляет доминанту любой пропаганды.

3. Принцип аксиологической пол-
ризации, привносящий в референциаль-

ное противопоставление «свое : чужое» дуализм «друг-враг». Разнообразные его проявления в рамках советского «новояза» описываются в [Weiss 1986: 275-291]. Из них не все можно привлечь здесь для сравнения в необходимом объёме. Поэтому для начала я бы хотел проиллюстрировать два принципа словарного структурирования (аксиологическое расщепление понятий и монополизацию определенных понятий), а затем остановиться подробнее на избранных для анализа гнездах метафор.

Изречение «Когда двое делают одно и то же, то это уже не одно и то же» находит отражение, пожалуй, в любого рода пропаганде в виде тенденции к расщеплению идеологически центральных понятий по дуалистической схеме «друг-враг». Это может 1. выражаться в том, что имеющиеся синонимы получают аксиологически противоположное смысловое наполнение и таким образом способствуют языковому делению мира. Зачатки этого процесса, разумеется, наблюдаются уже в повседневной речи, ср. нем.: *berühmt* / *berüchtigt*, то же в русск.: *славный* / *пресловутый*. Однако в советском «новоязе» этот процесс выходит далеко за рамки таких сопоставимых пар, как *соглашение* / *сговор*, *почин* / *происки*, охватывая (ср. в [Weiss 1986: 285 и сл.]; далее [Купина 1995]) такие скорее неожиданные сочетания, как *визит/вояж*, *миролюбие* / *пацифизм*, *интернационализм* / *космополитизм*, и даже юридические термины: *гражданство* / *подданство*, *договор* / *пакт*. За языковой биполярностью отчасти скрываются явные идеологические расхождения: так, распространённое в 1946-48 г. контрпонятие *космополитизм*, употребление которого перед смертью Сталина было доведено до крайности в связи с так называемым «делом врачей», камуфлирует не только антисемитские настроения, но и позднее может быть интерпретировано как рефлекс ксенофобных тенденций, возникновение которых знаменует момент принятия решения строить социализм в своей стране и которые начиная с 1929 г., то есть со времён кампании против «старых специалистов», олицетворявших «буржуазные науки», беспрестанно подрывают притязания марксизма-ленинизма на «интернационализм».

В языке национал-социалистов равным образом просматривается тенденция к аксиологическому противопоставлению синонимов. Ср., к примеру: *Verstand* (*разум*) / *Intellekt* (*интеллект*) (*интеллект*, по Шмиц-Бернинг [Schmitz-Berning 2000: 315], можно перифразировать как «разлагающий своей критикой, бесплодный разум») (У Геббельса это разграничение еще более отчетливо: *интеллекту(ализму)* противопоставляется *здравый смысл* или *естественный*, *не испорченный образованием инстинкт*. Противоположное

понятие к *Intellektuelle* остается не ясным; скорее всего на этот статус может претендовать *geistiger Arbeiter* (*работник умственного труда*). Об истории понятия *Intellektuelle* и о колеблющейся оценке этого понятия нацистами и социалистическими партиями в общем см. [Bering 1982]). Тем не менее, для национал-социалистической пропаганды характерна скорее другая разновидность 2., при которой расщепление понятий создается за счет образования неологизмов (атрибутов к уже существующим понятиям либо их включения в новые сложные слова). В результате возникают следующие парные сочетания: *германской веры* (*deutschgläubig*): *христианский* или *германская демократия*: *парламентская демократия*. Примечательно, что марксизм-ленинизм тоже испытывал потребность в двояком толковании понятия «демократия» с целью отмежевания от буржуазного понимания демократии. Ср. русск. *народная демократия*: *буржуазная демократия* (О широко распространенном ошибочном мнении о том, что понятие «народная демократия» является плеоназмом, а также о подтверждении тому в западнославянских языках см. [Weiss 2003: 269-270]. Нижеследующий политический анекдот берет «на прицел» двоякое понимание демократии: «— Какая разница между просто демократией и социалистической демократией? — Такая же, как между просто стулом и электрическим»). Этот языковой приём распространяется вплоть до судебных приговоров; так, *революционная законность* сталинской эры и её аналог в национал-социализме "*das völkische Recht*" служили основанием для поправки кодифицированного права. Второй приём может также выступать в комбинации с первым, ср. *социалистическое соревнование* как встречное понятие к капиталистическому *конкуренция* (Словарь Д. Н. Ушакова цитирует здесь для краткости только те определения этой парной пары, которые дал лично Сталин). Следующий приём состоит в том, что приводится только одно понятие, а существование соответствия противоположного полюса умалчивается; этот вариант мы находим в словаре Д. Н. Ушакова на примере словарной статьи «политзаключенный»: 2. *Политзаключенный* (нов.). *В капиталистических странах* — лицо, находящееся в тюремном заключении за революционную деятельность.

Знаменательным для всех перечисленных здесь модификаций аксиологического расщепления понятий является то, что оценка передается, как правило, только имплицитно, т.е. толкование значения соответствующей лексемы получает модальную рамку типа «говорящий считает, что это хорошо / плохо» (Также понятие *модальная рамка* принадлежит Московской Семантической Школе; для пояснений см. [НОСС 2000: XXIX-XXX]. В западной

лексикографии компонент оценки зачастую по умолчанию приписывается *коннотациям*, однако Московская Семантическая Школа дает более узкое и более точное определение данного понятия, ср. там же, XXVII); это отличает её от, например, эксплицитно оценивающих качественных прилагательных, таких как «хороший», «дурной» или же «неполноценный» (см. ниже) и т.д.

Мания абсолютного разделения «своего» от «чужого» обнаруживается, как известно, не только в области терминологии: фатальными были последствия и в истории развития науки обеих систем. Хотя «немецкая техника» и пожила в Третьем рейхе всяческие лавры, продвижение «арийской физики» в конечном счете воспрепятствовало созданию немецкой атомной бомбы [цит. по: Nerf 1995: 88]; в Советском же Союзе генетические лжеучения Мичурина, пропагандировавшиеся под ярлыком «советской науки» как контрмодели «идеалистической, буржуазной биологии» менделеевского направления и продолженные Лысенко, отбросили развитие генетики на десятилетия назад, что причинило огромный ущерб советской экономике (См. на эту тему подробнее [Medwedjew 1974], который в качестве первой причины краха лысенковской доктрины называет «ошибочное стремление охарактеризовать науки либо буржуазными, либо пролетарскими и социалистическими», охватившее в период между 1929 и 1931 гг. вслед за общественными науками науки естественные. Результатом «экспорта» этой доктрины в другие народные демократии также были тяжелые «дисфункции» в сельском хозяйстве; о последствиях в ГДР ср. [Hartmann/Eggeling 1995: 192-195]). Это же верно для многих других наук, таких как физиология, психология, математика и физика, чьи видные авторитеты (И. П. Павлов, К. Н. Корнилов, В. М. Бехтерев, А. Ф. Иоффе и др.) вдруг оказались в начале 1930-х гг. «буржуазными идеалистами». Такая же участь постигла в национал-социалистическом государстве ученых еврейского происхождения.

В сравнительном исследовании систем встречается подчас противоположная поляризация. Так, русск. *интернациональный* в соответствии с интернационалистическими корнями марксизма-ленинизма (см. выше!) воспринимается позитивно (ср. эвфемизм *интернациональный долг*, употребляемый еще в Афганистане в качестве оправдания вторжений советских вооруженных сил за границей). В национал-социалистическом движении, которое уже в своем обозначении поднимает на щит национальный принцип, напротив, можно предугадать пейоративную оценку слова *интернациональный* (ср. толкования „undeutsch“ (не-немецкий), „vaterlandslos“ (не имеющий отечества) в [Schmitz-Berning 2000: 322 и сл.]), тем

более, что оно связывается с ненавистным интернациональным социализмом, еврейством, масонством и христианскими церквями; самая распространенная негативная коллокация – *интернациональное еврейство* – может даже иметь индивидуальную референцию, ср. «интернациональный еврей Айзнер» и дальнейшие выдержки из «Майн кампф», например: *интернациональный финансовый капитал* или *интернациональный червь народа*. В отличие от Советского Союза, где Лениным было закреплено разграничение терминов *пропаганда* и *агитация*, – что правда редко соблюдалось позднее на практике, и им же настоятельно рекомендовались оба метода для достижения собственных целей, – в языке национал-социалистов только *пропаганда* воспринимается позитивно, *агитация* же понимается как «травля» и, соответственно, предназначена для врага.

Одновременно с тенденцией аксиологического расщепления понятий в обоих языках пропаганды прослеживается еще одна характерная тенденция, которая заключается в монополизации определенных ключевых понятий в собственных целях. В национал-социализме зафиксированы соответствующие нормативные вторжения, касающиеся, например, слова *Führer*: после того как постепенно были запрещены все до одного обозначения руководящих постов, включавших слово *Führer* (*Betriebsführer*, *U-Bootführer* и др.), и заменены другими образованиями, ср. *командир подводной лодки* (*U-Bootkommandant*), *фюрер* стало именем нарицательным, обладающим уникальной референцией (аналогично в речевом обиходе *Папа*, *солнце* и т. д.). Попытки католической и евангелической церковью ввести это понятие для обозначения Христа были резко осуждены Геббельсом [Schmitz-Berning 2000: 244]. Кроме того, режим нацистов использует также следующие понятия, претендующие на исключительность: *Старая гвардия* (*Alte Garde*): (в 1942-1943 гг. для обозначения старых членов НСДАП); *родословная* (*Ahnentafel*) (объявления, в которых это слово употреблялось для обозначения генеалогии породистых собак, воспринимались как нечто предосудительное) и *штандарт* (*Standarte*) (1935 г. для обозначения штурмовых отрядов СА и формирования СС). Подобно и в экономике употребление слова *пропаганда* в смысле *реклама* было запрещено уже в 1933 г., а в 1937 г. это понятие и вовсе определяется так: «Пропаганда в понимании нового государства стала в некоторой степени понятием, защищенным законом, и не должна использоваться для обозначения вещей, вызывающих пренебрежение», что исключало такие сочетания, как *пропаганда зверств* или *большевистская пропаганда* ([Schmitz-Berning 2000: 480]; о стремлении ограничивать употребление превосходной

степени в рекламных объявлениях см. выше ссылку на Клемперера). Соответствующее языковое нормирование с советской стороны до сегодняшнего дня почти не зафиксировано, однако фактическая монополизация позитивных понятий в парах *visit*: *вояж*, приведенных выше для иллюстрации темы расщепления понятий, не вызывает сомнений.

Совпадения в области некоторых гнёзд метафор выглядят скорее тривиально. В особенности это касается военных метафор, применение которых с обеих сторон уже ранее подвергалось критике многочисленными наблюдателями; сюда относятся всякого рода *кампании*, *штабы*, *фронты*, *штурмы*, *мобилизации* и др., которые, впрочем, в случае национал-социалистической пропаганды часто представляют собой заимствования из фашистской пропаганды Италии, ср. вдохновленные *battaglia del grano* (*бумба за хлеб умал.*). Муссолини *Arbeitschlacht* или *Erzeugungsschlacht*. На фоне испытаний Первой мировой войны (и последовавшей Гражданской войны в стране Советов), а также агрессии левых и правых движений, популярность такого рода вокабулярия вряд ли может вызвать удивление. Несмотря на то что эффект мобилизации вследствие чрезмерного его употребления с обеих сторон длился недолго, эта лексика, тем не менее, создавала подобие военной дисциплины и сплоченности собственных рядов и тем самым отвечала семантике единства. В случае нацистов, эффекту самодемонстрирования которых в значительной мере способствовали массовые парады, языковой милитаризм был своевременен милитаризации всей *народной общности*. В Советском Союзе в 1930-ые гг. мы также сталкиваемся с забавным случаем, когда метафора *битва за урожай* находит прямое воплощение в колхозных фильмах-комедиях А. Пырьева, как, например, в построении *баб* в «Богатой невесте», направляющихся закрытым формированием с граблями на плечах на уборочные работы, или в соединении аграрной и патриотической тематики в «Трактористах», когда новый бригадир оказывается испытанным в боях танкистом и камера плавно переходит от сцены колхозной идиллии к сцене движущихся танков (Протесты против загромождения политического дискурса военными метафорами не затихают и в сегодняшней России; ср. [Чудинов 2002]. Выводы этого автора о ментальном состоянии русского гражданского общества можно принять лишь с оговоркой на то, что большинство приводимых им военных метафор встречаются и в немецкоязычной среде – обществе, переживающем нарастающий процесс демилитаризации не одно десятилетие, ср.: «В сознании граждан стирается граница между войной и мирной жизнью, суровые боевые законы как бы рас-

пространяются на гражданскую жизнь» [там же, с. 46]).

Тесно связаны с военными метафорами многочисленные *динамизмы*: здесь ярким разнообразием отличается нацистская пропаганда, ведь не зря НСДАП была по своей сути *движением*. Скорость как таковая становится позитивным началом. Ср. следующую цитату:

(3) «Мы дали этой борьбе импульс, *горячее дыхание*, *дикий темп*, зажигательные лозунги и *штурмовую* активность.... Темп! Темп! Это был лозунг нашей работы» [Goebbels 1934]

Штурм – следующая ключевая метафора. Ср. боевую газету «*Штурмер*» и *штурмовой отряд* (=СА), – понятие, в котором «кипит пережитое целого поколения» (цит. в [Schmitz-Berning 2000: 552]) и которое как сокращение производит впечатление ускоренного темпа («*Сжатый, твердый ритм* этого слова стал для миллионов чем-то святым»). В «почётной книге» СА тоже речь идет о «*надвигающемся штурмовом* наступлении СА» (там же). Риторике штурма соответствует притягательность *блицкрига*, лишённого изнуряющих битв на истощение позиционной войны, ставших знаком Первой мировой. Примечателен также контрлозунг нацистов лозунгу противников по предвыборной кампании «Железный Фронт стоит недвижимым»: «Железный Фронт стоит недвижимым – мы маршируем!» Куда маршируем – не имеет больше значения, второй актант опускается: именно эта редукция валентности лежит в основе неосемантизма «маршировать (*marschieren*) = неудержимо пробивать себе дорогу» [Schmitz-Berning 2000: 398]. Если цель все же указывается, то эта цель – *будущее*.

Неудивительно, что среди нацистских динамизмов важное место занимают метафоры «удара», «взлома», «толчка» и «взрыва» [Bauer 1988: 48]. Ср.: *тяжеловесный* (*wichtig*), *отбивать* (*ausstampfen*), *стучать* (*hämmern*), *резкий* (*schlagartig*), *подхлестывающий* (*aufpeitschend*), *будоражающая ударная сила* (*auftrüttelnde Stoßkraft*), *сосредоточив силы удара* (*mit geballter Schlagkraft*) и т. д. Следующим понятием, связанным с милитаризмами, является ключевое слово *zackig* (бойкий, лихой, молниеносный), на происхождение которого из солдатского жаргона времен Первой мировой войны, а также графическое сходство с руной-молнией SS уже указывал Клемперер [Klemperer 1946 / 1982: 72-73]. В обоих языках излюбленные атрибуты *твёрдый*, *железный*, *стальной* носят скорее оборонительный характер (ср., с одной стороны, название романа Н. Островского «Как закалялась сталь» и, с другой стороны, требование, согласно которому немецкий юноша должен быть „flink wie ein Windhund, *zäh wie Leder und hart wie*

Kruppstahl («...быстрым, как борзая, упругим, как кожа, и твердым, как сталь Круппа» (нем.)), или нацистский военный плакат с лозунгом „Der Kampf ist hart, wir sind härter!“ («Борьба тверда – но мы тверже!» (нем.)) [Parole der Woche 1943/4]). Нацистская пропаганда добавляет еще и атрибут *drahtig* (*жесткий*).

Символом национал-социалистической динамики как таковой является автомагистраль. Какие коннотации с ней были связаны, становится ясно из следующего высказывания её главного строителя Фрица Тодта в 1933 г. [Цит. по: Bauer 1988: 44-45] (курсив мой – Д.В.):

(4) «Нашей национал-социалистической сущности соответствует новая магистраль Адольфа Гитлера, *Автобан*. Мы хотим видеть нашу цель *далеко* впереди себя, мы хотим продвигаться к нашей цели *неуклонно и быстро*. *Препятствия* мы преодолеем, переплетения нам чужды. *Уклоняться* мы не хотим, мы создадим достаточно дорог для *продвижения вперед*, и нам нужна дорога, которая позволит нам придерживаться нужного нам *темпа*.

Так мы строим в Третьем рейхе дороги, так воспитываем людей, так создаем целое национал-социалистическое государство».

По всей видимости, решающее значение имеет отсутствие препятствий: это позволяет не только продвигаться более быстрыми темпами, но и прежде всего способствует безостановочному стремлению вперед, к дальним целям. С этим перекликается также положение о том, что основным мотивирующим фактором строительства автодорог были стратегические соображения, опиравшиеся на опыт подвоза снабжения со стороны французов в битве при Вердене во время Первой мировой войны. Категорически против этого утверждения, поддерживаемого также Ф. Киттлером [Kittler 1995], выступает Э. Шюц (в том же сборнике [Schütz 1995]): для него это объяснение относится к области легенд в той же степени, как и представление о том, что идея строительства автодорог исходила от Гитлера и имела целью, в первую очередь, задействовать рабочую силу (говорить во время воздушной войны о военной пользе автострады, хорошо просматриваемой сверху, действительно затруднительно). По мнению Э. Шюца, строительство автострады имело, напротив, совсем иную функцию – эстетическую. Тот же Ф. Тодт, которому принадлежит приведенная выше цитата, в другом месте подчеркивает главенствующую связь техники и искусства [там же, 127]; последнее подразумевало ландшафтное оформление новых путей сообщения и их органичное вплетение в растительные пространства, которым придавалось большое значение. При этом, с ссылкой на тот факт, что немецкий народ по сути является «лесным народом», трассировка должна была пролегать как можно

дольше через лес, а придорожные рестораны должны были подчеркивать региональные особенности того или иного округа (*gau*) и т. д. Другое определение подобного стремления к гармонии природы и техники гласит: «Так гениально и так просто, как они [= дороги фюрера] гармонируют с природой, так гармонично включают они одновременно и едущего по ним в блаженное единство природы, принимающей человека, [...] как сына, наконец вернувшегося к матери» [там же, с. 143]. Свобода передвижения служит здесь не безостановочному, агрессивному стремлению вперед (как выше в примере 4), а гедонистско-мифической программе, которая подобно более раннему движению «Вандерфёгель» в конечном счете, имеет целью единение народа [с. 138]. В этих источниках совершенно не упоминается лишь об одном назначении строительства автомагистралей, а именно: о расширении и разгрузке дорожной сети!

Если икона нацистского динамизма оказывается в итоге на удивление многоуровневой, то её аналог в советском варианте скорее идеологически одномерен: метафорика локомотива и железной дороги, заданная ленинским *локомотивом истории*, идеально вписывается в массовую песню 1922 г. «Наш паровоз, вперед лети! Коммуна остановка» (О возникновении и росте популярности этой песни см. [Weiss 1999б: 305-306]; там же см. о том, как слова из этой песни цитирует в своей речи Н. С. Хрущев, но в более современном виде (социалистический экспресс приводится в движение уже не паровозом, а электровозом и тем самым опережает капитализм)) в марксистско-ленинскую риторичку движения вперед, красной нитью проходящую через всю ленинскую иконографию. В знаменитом плакате *Поезд идет от ст. Социализм к ст. Коммунизм* (приводится в [Бабурина 1993: 99]), где изображен поднимающийся в гору поезд с надписью *И. Сталин* впереди и выглядывающий из окна Сталин в роли машиниста локомотива (надпись в правом нижнем углу: *Испытанный машинист локомотива революции т. Сталин*), это радостное путешествие в «коммунизм» принимает художественную форму в сочетании с графикой, подчеркивающей экономический подъём.

Картина была бы незаконченной, если оставить без внимания авиацию. В Советском Союзе пропагандистская инструментализация мифа летчиков охватывает период с 1934 г. (спасение с воздуха экипажа корабля «Челюскин», затертого в паковые льды) до 1938 г. (авиакатастрофа Чкалова); ср. [Günther 1993: 155-174] (О языковых особенностях обмена телеграммами между Политбюро и тремя летчиками, совершившими в 1938 г. рекордный перелет из Москвы на Дальний Восток, см. [Weiss 1995: 355-358]; сравнительный анализ

гlorификации в публицистике героев-летчиков 30-х гг. и космонавтов 60-х гг. проводит В. Юровский [2001]). За неимением необходимых для сравнения текстов об авиации в нацистском государстве, проведение сопоставительного анализа пропаганды в этой области представляется невозможным; следует лишь отметить, что мифологический потенциал авиации был, естественно, другого рода, чем в случае со строительством автобана, так как он позволял, помимо высоких достижений собственной техники, также подобающим образом чувствовать героизм участников. Различия можно констатировать и в отношении к природе: в советском мифе о летчике неблагоприятные условия преодолеваются в борьбе, тогда как в немецком мифе об автобане гармоничное приспособление к природе представляет наивысшую ценность.

Миф о летчике идеально вписывается в советскую систему ценностей: риторика движения вперед, которую воплощает метафора железной дороги, в прямом смысле слова переходит в вертикальную плоскость (ср. цит. в [Günther 1993: 166] лозунги Горького «вперед и выше!») и тем самым соответствует «внушающей силе» общей семантики интенсификации, например, при искусственном завышении действующих производственных показателей. Эйфорию рекордов приглушила катастрофа самолёта-гиганта «Максим Горький», в строительстве которого в течение двух лет была занята целая фабрика из 800 рабочих. Самолёт разбился в результате столкновения с истребителем сопровождения в свой первый же рейс 18 мая 1935 г., при этом погибло 49 человек; вырубленный из камня самолёт-памятник на московском Новодевичьем кладбище еще напоминает об этой трагедии. Для внешних связей молодого Советского Союза подъём авиации имел двойное значение: проектомания подобного рода должна была продемонстрировать техническое превосходство в соревновании с капиталистическим Западом, однако в панегирическом отзвуке рекордных полетов все сильнее слышится идеологема *бдительности* к окружающим Советский Союз врагам, в особенности характерная для 1930-х гг.

Систематическое сравнение различных техник в соответствующих языках пропаганды мы оставим вне рамок данной работы. Одного взгляда уже достаточно, чтобы установить значительное различие: в метафорике нацизма глаголы, заимствованные из области механики, но имеющие одушевленные объектные актаны, как, например: *ankurbeln* (заводить), *gleichschalten* (подключать (Именно так обозначается насильственное приобщение к господствующей идеологии)), *aufladen* (заряжать), *auflaufen* (всходить), *auf Hochtouren laufen/bringen* (идти полным ходом; привести в полный ход), – оказывают прежде всего эф-

фект дегуманизации, в то время как советская метафорика электричества, унаследованная от 1920-х гг., вызывает за счет таких образов, как «лампочка Ильича», ассоциативную цепочку 'Свет → Просветление, Просвещение → цивилизационный прогресс'.

В заключение следует отметить, что параллели при сравнении систем очевиднее на тех явлениях, которые уже по причине их широкого распространения кажутся скорее тривиальными: тенденция к языковому экстремизму или гигантизму – не изобретение сталинизма или национал-социализма, а аксиологическое деление мира на две части составляет доминанту любой политической пропаганды. Возвращаясь к расхождениям в трактовке природы и окружающей среды, что в свою очередь находит отражение в техническом дискурсе (к чему мы еще вернемся в главе 3), следует констатировать, что в конце настоящей главы наметились, в частности, уже довольно значительные различия.

2. Первые расхождения. Разумеется, советский миф о летчике, как отмечает Юровский [Jurovskij 2001], восхвалял сплоченность и единство собственного лагеря. Соответственно, именно в этой сфере учащается число маркеров семантики тотальности. И это не удивительно: ведь в универсуме советской пропаганды противопоставление квантора общности и квантора существования как историческая константа целиком определяет поляризацию «друг-враг»; подробнее на эту тему см. [Weiss 2000b]. Здесь напрашиваются параллели с нацистской пропагандой, где *тотальный* было ключевым словом (ср. лозунг *тотальная война*, которое на самом деле исходит от Э. Людендорфа), а такие понятия, как *фольксгемайншафт* («народная общность»), *партайгеноссе* («соотечественник»), *партайгеноссе* («член нацистской партии»), наряду с лозунгами «Единый народ, единая Германия, единый фюрер», «Общее благо впереди личного», «Ты ничто – твой народ всё!», «Твое тело принадлежит Твоей нации!» (обращение Шираха к немецкой молодежи), также присягали идеалу единства. При этом стремление к устранению социальных противоречий, по видимому, совпадает с марксистским пониманием единства:

(5) Трудовой фронт не должен *больше иметь разделения социальных слоев*, понятий *предприниматель* и *работодатель* просто не должно больше существовать, эти слова должны быть запрещены, должен быть немецкий человек труда. [Р. Лей, Почетная книга труда]

Однако уже в следующей цитате из ключевых понятий *сообщество крови* и *божественная воля творца* становится ясно, что здесь, в сопоставлении с Советским Союзом, речь идет о коллективизме другого рода:

(6) Понятие 'народное сообщество' как общество крови или судьбы находится в центре германского народного мировоззрения. Из факта органической связи людей возникает новая нравственность. Лицо, оторванное от народной целостности, теряет смысл существования, так как жизнь каждого человека по божественной воле творца связана с надличностным жизненным единством его народа. Единичное существование возможно только через существование сообщества. [Я. Граф, Теория наследственности...]

В довершение всего, языковые эквиваленты квантора общности в нацистской пропаганде, в отличие от Советского Союза, далеко не исключительно относятся к разряду «своего», ср.: *alljüdisch* (всееврейский), *Alljuda* (всеиуда). Систематическое сравнение именно этой центральной оппозиции <тотальность: обособление > возможно только с включением в рассмотрение различных форм культа личности, поэтому оно будет произведено не здесь, а ниже в главе 5.

Теперь же обратимся к рассмотрению противопоставления, выводимого из основополагающей дихотомии, а именно к оппозиции '(физически) целый, невредимый: больной'. Для обстоятельного разбора потребуется прежде всего (относящаяся к полюсу врага) подгруппа метафор болезни и разложения. Роль данных метафор в советской пропаганде подробнее освещается в [Weiss 2000a]; здесь будут проиллюстрированы их соответствия в языке нацистов. Тут мы сталкиваемся с последней (согласно [Guldin 2000]) в европейской истории попыткой диффамации другого как инородного тела, паразитов и возбудителей болезней в собственном социальном теле. Ср. следующие слова-ругательства из сочинений Гитлера в адрес евреев (Текстовые примеры из «Майн кампф» приводятся по Л. Винклеру [Winckler 1970: 84-85] и А. Ноймайру [Neumaier 1995: 178]; прямые источники там не указаны). Винклер иллюстрирует [с. 96 и сл.] дальнейшее использование некоторых из этих метафор в языке национал-демократической партии Германии (НДП) и газеты «Байернкурир» в конце 60-х гг.; ср.: «отравители народного организма, управляемые извне», «плесневые грибы»; «Рассадник разложения нужно уничтожить, как вырезают язву, чтобы она не распространила свой яд на весь организм». Об античной генеалогии этой метафоры социального хирурга см. [Münkler 1994: 134-138]:

(7а) *Еврей – личинка в гнойнике на теле германского народа; трутень, который крадывается в остальное человечество; паук, медленно высасывающий кровь из народа; стая голодных грызунов, друг с другом крыс; вечная пиявка; вампир народов; паразит на теле других народов; паразиты, которые*

подобно бациллам распространяются дальше, вечный грибок человечества; еврейский возбудитель; ужасное отравление народного организма; чума, хуже той «черной смерти»; заражение нашей крови; разложение нашей крови/ нашего народного организма.

На этом фоне диффамация марксистов выглядит просто скромно:

(7б) *революционные клопы; трупный яд марксистских представлений*

По сравнению с советской пропагандой здесь по меньшей мере намечается незначительная разница: хотя советской пропаганде и были знакомы «трутни» и «высасывающие кровь пауки» (эта метафора использовалась главным образом в диффамации духовных лиц), а также «гноиники», «падаль» и некоторые другие метафоры гниения, разложения и паразитирования, которые часто пускались в ход для диффамации противника до и после Н. С. Хрущева (Ср., например, *гнилой, тухлый, разлагаться, растлевать, тлетворный* и т. п.; см. [Weiss 2000a]), это пристрастие, насколько нам известно, не доросло до «личенок», «клопов», «крыс» и «трупного яда» (В случае с *пиявками* (в советской пропаганде, по моим наблюдениям, это слово не используется как маркер «чужого») необходимо отметить, что в то время, очевидно, преобладало отталкивающее представление (черви), а не лечебные цели их использования для кровопускания). Личные obsessions Гитлера, в том числе его склонность к некрофилии – диагноз, поставленный Эрихом Фроммом, – принимают формы, вызывающие особое отвращение. Дальнейшие примеры можно найти в современном медицинском дискурсе (см. выше о *бациллах*) (Согласно А. Ноймайру [Neumaier 1988: 202], в начале 1941 г. Гитлеру принадлежит следующее высказывание: «Я ощущаю себя Робертом Кохом в политике. Он открыл бациллу и показал медицине новые пути развития. Я разоблачил еврея, как бациллу, которая разлагает общество». Подобная метафорика имеет, как ни странно, своих предшественников. Так, уже в 1888 году П. де Лагард выдвигал принятие следующего «окончательного решения»: «С трихинами и бациллами не ведут переговоров и не перевоспитывают их, а стараются уничтожить как можно скорей» (цит. по [Heid 1995: 240])). В словесных эксцессах Гитлер превосходит себя вплоть до катахрезы; ср., например, один из отчетов о расплате с Рёмом и его соратниками (цит. по: [Neumaier 1995: 190]):

(7в) *...и я приказал расстрелять заговорщиков. Все язвы нашего общества – все "отравители колодцев" – должны быть выжжены калёным железом.* (В данном случае русские переводчики удачно избежали катахрезы. Тем не менее она налицо. Ср. более дословный вариант перевода: «...и я приказал выжечь ка-

лёмным железом язвы внутреннего "отравления колодца"»)

Подобного рода грубый садизм, по моим данным, не зафиксирован в сталинистской пропаганде (Разумеется, насильственный характер языка сталинизма неоспорим: также и здесь даже в мирное время политического противника, реального или мнимого, немало душили, закалывали, раздавливали, уничтожали и т. д. Достаточно недвусмысленна, например, следующая политическая частушка: «Я умею молотить / умею помолочивать / кулакам бока ломать / скулы выворачивать»).

Характерным для нацистской пропаганды является также (наблюдаемое в последнем примере (2)) семантическое наполнение понятия *кровь* значением 'сущность' (в советской же пропаганде *кровь* фигурирует в значении пролитой крови жертвы). В основе, разумеется, лежит облеченная в высшую степень «святости» науки расовая доктрина Х. Чемберлена и А. Розенберга. Она ведет также в словообразовании к продолжению ряда референциальной оппозиции <свое: чужое> (ср. *чуждый нашей расе (artfremd)*, *безрасовый (artlos)*, *дегенерированный (entartet)*, *расово-чуждый (fremdrassig)*), которая в дальнейшем получает аксиологическое наполнение на основе социал-дарвинизма (ср. *расово высший/низший*). Здесь мы сталкиваемся с решающим для лингвистики расхождением между двумя языками пропаганды: аксиологическая составляющая, выступая в советской пропаганде лишь как коннотация или (в терминологии Московской Семантической Школы) модальная рамка, в нацистских понятиях эксплицитна, более того, она становится ядром значения (асертивной частью в толковании значения данной единицы), ср. также *недочеловек (Untermensch)*. Ввиду таких естественных различий ценностей между расами, *соблюдение чистоты крови* представляется «священным правом человека» (цит. по: [Winckler 1970: 91]). Вряд ли нужно подчеркивать, что все это указывает на облик человека совсем иного склада, нежели в советской пропаганде: если советская пропаганда ставит во главу угла влияние общества на человека (ср. приводимую всеми словарями цитату из В. Каверина «Советское общество сделало его человеком»), результат которого в лучшем случае сводится к тому, что можно сформулировать горьковским пафосом «человек – это звучит гордо!», – то позиция нацистов гласит: «Так же, как собака собаке рознь, – при этом здесь не может оспариваться разница между высшими и низшими расами, – так и человек человеку рознь» (Из азбуки национал-социализма, цит. по [Schmitz-Berning 2000: 407]).

Интересным в этой связи представляется различное парадигматическое закрепление

метафоры чистоты. В советской пропаганде *чистый* активно используется благодаря ключевому понятию *чистка*, т.е. ритуалу чистки общественного организма; в качестве антонимов выступают, как и следовало ожидать, маркеры непринадлежности – *грязный, грязь* (ср. *липкая грязь прошлого*) и *нечистый*, а также собирательное *нечисть*, которое благодаря своей полисемии охватывает такие значения, как «паразиты», «сброд», и в то же время «нечистые духи» (ср. *нечистая сила*) (Об исторически изменчивом референциальном потенциале маркера непринадлежности *нечисть* см. [Weiss 2000a: 224-226], о лексикографической истории понятия *чистка* см. [Weiss 1986: 261]). Тем не менее, в словаре нацистов слово *чистый (rein)* фигурирует в ином значении, а именно в смысле *чистокровный (reintrassig)*; соответственно, антонимом является не *грязный (schmutzig)* или *гадкий (dreckig)*, а *смешанный (ой расы) (gemischt (rassig))*, что в свою очередь является частью целого поля метафор. Ср.: *смешанец* = представитель смешанной расы (*Mischling*) (О потенциале чуждости, к примеру, слова *смешанец* свидетельствуют его коллокации; ср. следующую выдержку из одного учебника по биологии, приводимую К. Шмиц-Бернинг [Schmitz-Berning 2000: 622]: «Вместо этого, *неполноценный* наследственный материал в виде большевистского *недочеловечества* размножился, как *сорная трава*, и таким образом в 1941 г. в бой вступила огромная армия, которая большей частью состояла из *преступников, неграмотных и смешанцев самого худшего сорта*»), *скрещивание рас (Rassen-(Kreuzung)*, *гибридизация (Bastard (isierung)*, *каша народов (Völkerbrei)*. Иное истолкование получает и традиционное *смешанный брак (Mischehe)*, который отныне – уголовно наказуем. Квантификация соотношений смешанности ведет к возникновению таких юридически релевантных терминов, как *еврей на три четверти (Dreivierteljude)*. В какой степени пуризм нацистской языковой политики, её восхищение немецкостью относятся сюда идеологически, не является предметом данного очерка; пуризм характерен и для вильгельминской эпохи (уже в 1878 г. только в терминологии железной дороги и почты были искоренены сотни галлицизмов).

Собственное здоровье как полюс, противоположный болезням противника, воплощается в реальный образ в массовых спортивных мероприятиях, которые в обеих странах были неотъемлемой частью важнейших политических ритуалов (партийные съезды рейха, первомайские парады на Красной площади) и олицетворяли пышущую здоровьем сплоченность собственных рядов. О тесно связанном с этим культе тела красноречиво свидетельствует изобразительное искусство того и другого

лагеря (Впрочем, изображение голого тела в нацистском искусстве не было табуировано, тогда как в Советском Союзе соответствующие части тела отчасти стыдливо прикрывались. Так, Альберт Шпеер был поражен во время своего пребывания в оккупированном Киеве в 1942 г. целомудренно одетыми статуями в спортивном стадионе [Голомшток 1994: 236]). В национал-социалистическом государстве *физическая закалка* (онемеченная форма "training") как составная часть воспитания *нового человека* входила в одну из задач государства. Из следующей цитаты из «Майн кампф» становится ясно, чему уделялись приоритеты (цит. по: [Schmitz-Berning 2000: 358]): «Принимая все это во внимание, народническое государство будет видеть главную свою задачу не в том, чтобы накачивать наших детей возможно большим количеством "знаний", а прежде всего в том, чтобы *вырастить вполне здоровых людей*. Лишь во второй очереди будем мы думать о развитии духовных способностей».

С точки зрения языка, *здоровый* в советской пропаганде в значительной степени ограничивается метафорической областью. Ср. в первую очередь фразу *здоровые силы* (употребляемую еще Горбачевым). В области национал-социализма общеизвестное *здоровое чувство народа* достигает статуса юридического термина [Schmitz-Berning 2000: 270-272]. Здесь, как и в вышеприведенной цитате из Гитлера, снова выдает себя влияние расовой доктрины (ср. такие композиты, как *erbgesund* (потомственно здоровый)). Тем самым мы сталкиваемся с решающим отличием двух идеологий: оппозиция <здоровый: больной>, используемая в советском варианте чисто в метафорических целях отмежевания «своего» от «чужого», в расово-теоретическом контексте национал-социалистического движения вновь обретает своё прямое (первоначальное) значение и служит в оправдание ригористичной программы, направленной на селекционирование путем выращивания так называемого *полноценного* и искоренения так называемого *неполноценного наследственного материала*. Стало быть, предупреждение зачатия *дефектного потомства* становится «самым гуманным деянием человечества» (цит. по: [Winckler 1970: 91]). То, что здесь возвещает пропаганда, было, как известно, в скором времени реализовано на практике в качестве евгенистической программы: словосочетание *жизненно неполноценное лицо*, введенное некими юристом и психиатром в 1920 г., становится устойчивым, согласно К. Шмиц-Бернинг, уже в 1920-е гг. [Schmitz-Berning 2000: 382], а с 1940 г. денотатом этого сочетания уже является не *предотвращение*, а *уничтожение* (в программе эвтаназии Гитлера). Подобного рода лексику, выражающую презрение к лю-

дям, можно тщетно искать в советской пропаганде (Особенно показательны в этом отношении высказывания А. Хохе – врача и соавтора упомянутой теории, приводимые в [Schmitz-Berning 2000: 381]: «пустые стручки», «люди-балласты», «дефектные люди», «разрешение на уничтожение абсолютно бесполезных духовных мертвецов»).

Дальнейшим плодом нацистской расовой доктрины являются сочетания, включающие смысл 'хозяин, господствующий'. Ср.: *господствующий человек (Herrenmensch)*, *господствующий народ, народ-хозяин (Herrenvolk)*, *господствующая раса (Herrenrasse)*. Изображающим тут является не первый элемент, а второй, показывающий соответствующую область превосходства: ко второму семантическому актанта слова *господствующий* относятся другие человеческие индивиды, а именно *недолюди (Untermenschen)*, возникшее не как противопоставление ницшеанскому сверхчеловеку, а зафиксированное уже у Жана Поля и Т. Фонтане, или целые *расово нижестоящие* нации (В пропагандистском плакате прибегают к самому банальному средству диффамации, изображая противника с гротескно искаженным негроидным или еврейским лицом; ср. примеры из [Neuеп 1983: 72-73]). Впрочем, союзники были не менее сдержанны: на англосаксонских плакатах японцы предстают в виде обезьяноподобных существ; см. [Finková / Petrová 1986: 5]). В противоположность этому, второй актант у русск. *хозяин* (оставим без внимания одинаково звучащее неофициальное имя Сталина) всегда выражается территориальной единицей. Ср. следующие самые частотные коллокации *подлинный хозяин своей страны* (о советском человеке) и *[Мы] молодые хозяева земли*. Последняя формулировка получила широкое распространение как строфа из «лирической массовой песни» в кинокомедии (1934 г.) «Весёлые ребята». Еще в большей степени это верно для слов «Человек приходит как *хозяин / Необъятной родины своей*» распеваемой миллионами массовой песни «Широка страна моя родная» из кинофильма «Цирк». Претензия на господство здесь совсем иного рода: необходимо обладать собственной страной со всеми её природными богатствами (не считаясь, впрочем, с ущербом для экологии). Кроме того, в перестановке местами с бывшими господствующими классами находит отклик историческая компенсация; это иллюстрирует прежде всего коллокация *сами хозяева (своих фабрик, своей земли и жизни своей)* (Так же в сказке о Ленине 1970 г.; см. об этом: [Weiss 1995: 378-379]). Иначе функционирует книжное *гегемон*, ставшее популярным с приходом Ленина. В этом случае речь идет о господствующем классе, именно поэтому данное слово некоторое время выступает синонимом *пролетариата*, при этом в качестве второго актанта

чаще всего фигурирует *народных масс*. В этой связи необходимо напомнить о том, что диктатура пролетариата, согласно господствующему учению, ограничивалась временным пространством двух поколений; впоследствии в Советской Конституции 1977 г. на смену ей придет *общенародное государство* (В лексикографической практике это явление фиксируется уже раньше; ср. [Weiss 1986: 317]).

В качестве предварительного итога можно отметить заметные расхождения между сталинистским и национал-социалистическим дискурсом: сталинистский дискурс в своей принципиальной позиции все еще эгалитарен, тогда как национал-социалистический дискурс эксплицитно антиэгалитарен, что допускает намного более неприкрашенные вербальные маркеры «чужого», открыто выражающие презрение к людям. Что касается «Словаря нечеловека» Д. Штернбергера, то здесь пальму первенства, без всякого сомнения, заслуживает национал-социалистическая система.

3. Глубинный уровень: важнейшие расхождения. Из рассматриваемых в дальнейшем расхождений двух языков пропаганды три первые имеют определенные общности: в них, по сравнению с марксизмом-ленинизмом, выражаются более сильные внутренние противоречия нацистской идеологии. Первое противоречие относится к противопоставлению ориентации на прошлое и будущее, что в языковом отношении выражается оппозицией <старое : новое>. В чистом виде это противопоставление выступает как соответствующая понятийная пара, причастная к основополагающему дуализму «друг-враг», причем 'новое', как и следовало ожидать, включается в позитивный, а 'старое' – в негативный полюс. В Советском Союзе высший расцвет риторики 'старого – нового' приходится, правда, не на времена Сталина: антитеза '*старый мир: новый мир*' господствует прежде всего в пропаганде 1920-х гг., затем отходит скорее на второй план и переживает свое возрождение во времена Н. С. Хрущева (см. об этом [Weiss 1999a]). При этом её референциальный потенциал со временем растет: первоначально эпитет 'старый' относится только к дореволюционной России или капиталистическому Западу, однако в период «оттепели» этого ярлыка могут также достаиваться пережитки сталинизма. Подобные изменения находятся в тесной взаимосвязи с равным образом переменчивой историей идеологемы создания *нового человека* (Подробнее об этом см. [Müller 1998], который видит начало этой идеологемы в выступлении М. Горького на первом съезде Союза писателей 1934 г. О *новом человеке* в сравнительном анализе тоталитарных систем с точки зрения истории искусства см. [Голомшток 1994: 187-194]). В риторике национал-социализма оппозиция <старое : новое> занимает

менее видную позицию, тем не менее она встречается во многих фраземах, таких как: *новая Германия (!), новая Европа, новый европейский порядок*, хотя и здесь 'старое' представляет собой негативный полюс, в первую очередь период Веймарской республики. *Новый человек* (в смысле 'человек труда') существует и как постулат: по Альфреду Розенбергу, задача нашего времени заключается в том, чтобы «из нового жизненного мифа создать нового человека». В следующем текстовом примере новый человек олицетворяет снятие социальных противоречий между «белыми» и «синими» воротничками, посредством чего устанавливается связь с семантикой единства (см. выше пример 5):

(8) Они вновь должны научиться уважать друг друга, *работающий головой – работающего руками* и наоборот. [...] и из этих двоих должен выкристаллизоваться *новый человек* – человек грядущей Германской империи. [Гитлер, Речь 24.4.1923]

Впрочем оппозиция 'старого' и 'нового' в нацистском дискурсе порой сглаживается за счет неожиданных формул гармонизации. Это относится, например, к академической среде, где, как показывает Маас [Maas 1995], в большей мере действовала политика невмешательства; отсюда появляются такие фразы, как «обмен *нового* мировоззренческого познания и *дошедшего до нас* научного наследия и учения» или «синтез *традиции* и *новой* перспективы» [Там же: 180-181]. Резкий контраст этому являет одинаковый по времени раскол советской науки на старые «буржуазные» и новые «советские» исследования; см. выше комментарий в связи с делом Лысенко в главе 1.

Оппозиция <старое: новое> может помимо понятийной реализации также находить проявление в противопоставлении определенных пластов языка, при котором производятся сознательные внутриязыковые заимствования исторических или историзированных терминов. В нацистской системе, на фоне характерного для нее прославления германского мифического прошлого, предсказуем не только сам факт таких заимствований, но и их аксиологическая принадлежность: в отличие от только что рассмотренной понятийной оппозиции, 'старое' получает теперь положительное наполнение. Обращение к прошлому обнаруживается на различных уровнях, а именно: а) лексически – в предпочтении архаизированных терминов из социальной и политической областей, а также в возрождении старогерманских личных имен; б) семиотически – в обращении к более древним письменным системам (руны, фрактур) и символам (свастика) (Нельзя не отметить определенную долю иронии в том, что та же свастика как символ солнца была предметом дискуссий молодой советской власти при

выборе символа государства до того, как было принято решение о пятиконечной звезде (символ пяти континентов)) и в) мифологически – в возврате к миру германских саг, в особенности к эпосу о Нибелунгах, что сопровождается попыткой возрождения германских обрядов наподобие праздника солнцестояния.

Группу а) иллюстрируют такие понятия, как племя (*Stamm*), племенное сообщество (*Stammesgemeinschaft*), дружина (*Gefolgschaft*), гау (*Gau*), гауляйтер (*Gauleiter*), Восточная марка (*Ostmark*), род, клан (*Sippe*), рыцарский замок (*Orden(sburg)*), тинг (*Thing*) или солнцестояние (*Sonnenwende*), а также наименования военных формирований, которые характерным образом закрепились за военизированными подразделениями СА и СС, как, например, *Rotte* (ячейка), *Schar* (отделение), *Trupp* (взвод), *Sturmbann* (батальон). Определенной популярностью пользуются также подражающие старине перифрастические образования, к примеру, *Reichsnährstand* (кормящее сословие империи) для обозначения 'крестьянства'; аналогично *Arbeitsmaid* («арбайтсмайд» – девушка, состоящая в Германском трудовом союзе) или курьёз *Reichsbräuteschule* (имперская школа будущих невест). При всем том степень историчности не имеет значения: очевидно, что некоторые из приведенных понятий относятся уже не ко времени германских племенных союзов, а к феодальному средневековью (*орден, кормящее сословие*) (Мир средневекового рыцарства находит распространение и в плакатной графике того времени: так, например, на одном из плакатов, посвященных имперскому партийному съезду 1934 г., изображена в профиль фигура рыцаря по пояс, в доспехах и с поднятым в руке мечем; его щит украшает свастика и дубовые ветви (www.webshots.com)); *Восточная марка* как обозначение 'Австрии' совершенно аисторично, так как нигде не зафиксировано в исторических источниках, а слово *Gefolgschaft* (сопровождение-дружина) восходит к исторической терминологии XIX века, в которую оно вошло как калька с известного из Тацита *comitatus* и расширяет теперь свое значение вплоть до обозначения служащих коллектива (*Betriebsbelegschaft*) (Так, если умершим был владелец фабрики, то помимо некролога вдовы, также «содружники» („*Gefolgschaft*“), т. е. сотрудники были обязаны опубликовать отдельный некролог от своего имени; ср. [Klempereger 1946 / 1982: 131]). К XIX веку восходят, кроме того, многие из реставрированных теперь понятий, в частности к движению «Вандерфёгель» и «Турнфатеру» Ф. Л. Яну. Так, немецкое *Schaft*, путем грамматикализации давно ставшее суффиксом, которому Ф. Л. Ян хотел вернуть статус свободной номинальной корневой морфемы, в противовес двум другим

кандидатам, а именно суффиксам *Heit* и *Keit*, пользовалось успехом у нацистов, ведь *Schaft* выступало теперь как один из вариантов слов *Jungenschaft* и *Mädelschaft* и, в свою очередь, стало входить в состав сложных слов (ср. *Schaftsführer (in)*).

Помимо древнего периода германской истории и немецкого средневековья можно выделить третий источник вдохновения – Римскую Империю: тайное восхищение Гитлера вызывали отнюдь не германские варвары, а император Август. Как показал недавно проведенный сопоставительный анализ текстов, отчетный доклад Гитлера 1939 г. был даже построен по образцу описания одного из деяний римского императора 13 г. н. э.; см. об этом [Grimm 2002].

К коллективной ориентации на прошлое примыкает, наконец, индивидуальный возврат к прошлому, навязываемый уже расовой теорией и ее реанимацией генеалогического принципа, что находит отражение в таких административных терминах, как *генеалогическое свидетельство (Abstammungsnachweis)*, *паспорт предков (Ahnenpaß)*, *родословная (Ahnentafel)*, – более того, руководитель имперского сельского хозяйства В. Дарре рекомендует устраивать в домах уголок для почитания предков! И без таких псевдорелигиозных акцентов архаизированный терминологический пласт, проиллюстрированный выше, безусловно, являет собой резкий контраст на фоне прочего модернизма языка нацистов с его техницизмами, динамизмами и милитаризмами: находясь в сердцевине официального языка, 'старое' и 'новое' вряд ли сочетаются здесь гармоничными узами (В пропагандистском плакате есть блистательные примеры странного сочетания элементов современности и доисторического сказочного мира. На одном из плакатов с надписью «Deutschlands Sieg – Europas Freiheit» (Победа Германии – свобода Европы) изображен немецкий «ландсер» в стальном шлеме, наступающий на красного дракона с пятиконечной звездой во лбу. При этом две молнии, исходящие из рук наступающего, образуют клин, пронзающий дракона).

Рост популярности германских личных имен, наблюдаемый в общественной практике уже со времен вильгельминской эпохи, ощущается во времена нацистского режима соответствующими указами; тем не менее, этот период «не оставил глубокого следа в истории имен» [Kunze 1998: 53]. К примеру, популярность имени *Адольф* в Киле падает уже после 1933 г. С другой стороны, благодаря канонизированной нацистами фигуре Хорста Весселя, популярным становится имя *Хорст*, которым еще в средние века называли лошадей. Мода на «германскость» оказала, впрочем, свое влияние также на наименования типов оружия; так, одно из новых орудий было названо име-

нем «Тор». Попутно отметим архаизированные элементы синтаксических структур в речи Гитлера, которые привлекают к себе внимание маркированным порядком слов (ср.: „die deutsche Nation hat doch bekommen ihr germanisches Reich“ («Немецкая нация все-таки получила свою германскую империю» (нем.)) [Речь фюрера во время партийного съезда труда, Мюнхен 1937, 19], что служит лишь средством к возвышенному пафосу.

Следующая вышеприведенная группа б), т. е. семиотическое архаизирование, не требует дальнейших комментариев, в то время как группа в), напротив, заслуживает нашего внимания, ведь речь идет о пропагандистской инструментализации целой средневековой эпической традиции. Х. Мюнклер и В. Шторх [Münkler / Storch 1988: 86 и сл.] указывают на то, что мотив коварного убийства Зигфрида Хагеном является больше, чем метафорой "Dolchstoß" (*предательского удара ножом в спину*): он служит равным образом объяснительной моделью поражения будто бы непобедимой на фронтах германской армии, причиной которого послужил, как утверждалось, прорыв внутреннего фронта в 1918 г. Распространяя тезис «об ударе ножом в спину», Гитлер и Геббельс лишь эксплуатировали это выражение; миф о Нибелунгах облекается нацистами в высшую степень святости благодаря Герману Герингу, который сравнивает битву за Сталинград с битвой Нибелунгов в замке Этцеля; полное уничтожение целой армии было таким образом «разыграно как героическое самопожертвование» [там же, с. 105]. То, что трагической гибелью племени Нибелунгов был предначертан закат Третьего рейха, многие исследователи не расценивают как внутреннее противоречие: пессимистическая альтернатива, принимавшаяся в расчет уже в «Майн кампф» («Германия либо победит, либо прекратит свое существование») и с самого начала включавшая в себя индивидуальное ожидание смерти («Завтра мы идем на смерть», – цитирует Г. Бауэр одну из ранних песен немецких штурмовиков СА [Bauer 1988: 93]), нашла грандиозное воплощение в гитлеровском предвидении заката; «миф о Нибелунгах, будучи военным самообманом в конце Первой мировой войны, был возведен в ранг политического девиза в конце Второй мировой» (Münkler/Storch [1988: 106]. О мистике жертвенности и смерти в национал-социализме см. также [Bauer 1988: 93-94]).

В итоге можно констатировать следующее: подобно нацистской идеологии, национал-социалистический дискурс пропаганды был охвачен неразрешимым противоречием между ретроградными и модернистскими элементами; аксиологическая оппозиция <старое : новое> обращается перед лицом положительной переоценки отдаленного прошлого в ничто. Как

с этим обстоит дело в сталинском Советском Союзе? От марксизма-ленинизма как идеологии, ориентированной, в первую очередь, на будущее, нельзя ожидать историзирующих элементов. Однако в период сталинизма 30-х гг. меняется общественно-политический контекст: нарастающий советский патриотизм и уже состоявшаяся переоценка национальной истории России делают вновь возможной ориентацию на прошлое как добавочный ориентир. И всё же, в пределах центрального пропагандистского канона не обнаруживаются явления, даже отдаленно соизмеримые с подражающим старине нацистским жаргоном. В области лексики возрождаются лишь некоторые понятия, сошедшие со сцены со времен Октябрьской революции, такие как *родина* или *отечество*; о пропагандировании древнерусских имен не может быть и речи (вместо этого еще с 1920-х гг. успехом пользуются «футуристические» имена типа *Революция*, *Октябрин* или даже *Электрификация*); печатный и письменный шрифт также не переживает возврата к допетровским, церковнославянским временам.

Несмотря на это, возврат к покрытым вековой пылью легендам и преданиям имеет место: в соответствии с соцреалистическим требованием большей *народности*, вымирающая традиция устной эпики и причитаний, сохранившаяся еще в отдаленных регионах (прежде всего на севере России), с 1934 г. начинает вновь возрождаться с поощрения властей. Так, оставшиеся сказители (зачастую преклонного возраста и неграмотные) берутся сочинять – под руководством консультантов в области научной фольклористики – новые былины о Сталине и достижениях советского государства, вместе с причитаниями по убитому С. Кирову, погибшему лётчику-герою В. Чкалову и по давно ушедшему из жизни Ленину (О политических условиях, а также об отнесении этого архаичного жанра советского фольклора к определенному языковому и пропагандистско-историческому контексту ср. [Weiss 1998: 470-493] и [Weiss 1999b]. Исчезновение этого жанра после смерти Сталина рассматривается в [Weiss 1998] как первый шаг в сторону десталинизации советской пропаганды). В языковом отношении эти произведения созданы на подлинном фольклорном интердиалекте, резкий контраст которому, разумеется, представляют многочисленные советизмы. На фоне простой, аксиологически совершенно единой антитетики «старого / нового» 1920-х гг. возобновление интереса к древности должно было казаться разрывом с существующей пропагандистской системой ценностей; в свете марксистской веры в науку, вновь почитаемые мотивы преданий, такие как живая вода, волшебное кольцо или звери, спешащие на помощь к оказавшимся в беде советским пограничникам, требовали особого обоснования. По этой же

причине Н. Леонтьев, который сам раньше был консультантом народных бардов, язвительно озаглавил в 1953 г. свою статью-расплату с фабрикацией всего псевдофольклора как «Волхование и шаманство».

В нацистской пропаганде подобного архаического шаманства не наблюдается: там не рождаются эпосы о Гитлере или причитания по Хорсту Весселю, сфабрикованные на какой-либо неcodифицированной разновидности немецкого (или даже на средневерхненемецком). Скорее тривиальное тому объяснение заключается в отсутствии аутентичной устной традиции. В этом отношении нацистская пропаганда, несомненно, более гомогенна с языковой точки зрения, чем ее советский аналог. С другой стороны, соответствующие жанры советского фольклора относятся к абсолютной периферии пропагандистского канона, не вторгаясь в него даже в форме цитат (Исключение, впрочем, весьма знаменательное, составляет «Краткая биография» Сталина, где на с. 242 можно прочесть следующее: «Мы идем со Сталиным, как с Лениным, говорим со Сталиным, как с Лениным, знает все он наши думки-думушки, всю он свою жизнь о нас заботится», говорится в одном из замечательных русских народных сказов». Этот жанр оказался весьма благодатной почвой, если учитывать, кто был главным адресатом советского фольклора), в то время как центральные жанры канона продолжают последовательно внедряться в сферу современного языка. Притом их функция заключается отнюдь не в пении дифирамбов феодальному прошлому России, а, парадоксальным образом, в прославлении советской действительности: в отличие от эпоса о Нибелунгах, который использовался нацистами в целях исторической аргументации, эпический советский фольклор, наряду с панегирическим преподнесением общественных достижений, служит прежде всего культу героя и культу личности (не только Сталина, но и многих других знаменитостей советского пантеона). Лишь во время Второй мировой войны мотивы древнерусского эпоса порой инструментализируются в аргументативных целях; так, на одном военном плакате изображен красноармеец, пьющий из шлема воду из Днепра, – явное заимствование из «Слова о Полку Игореве» – со следующим комментарием: «Пьем воду родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и Буга!», – что возвещает о неудержимом продвижении советских войск на Запад. Существование угрозы немецкого агрессора способствует теперь реанимации национального прошлого и по содержанию: воскрешаются прежние победы над вражескими захватчиками, этот отрезок истории должен-де еще повториться. При этом нельзя забывать и о семантике преемственности «новояза» (ср. формулу «Так было – так будет!» из военных пла-

катов с изображением наколотых на штыки немецких рыцарей, Наполеона и Гитлера).

В заключение можно констатировать, что и в том и в другом дискурсе наряду с 'новым' в языке также 'старое' относится к собственному лагерю и тем самым к положительному полюсу дуальной картины мира, однако в сталинистской пропаганде 'новое' и (позитивное) 'старое' вступают в конфликт только в периферийных жанрах, в то время как в национал-социалистической пропаганде соотношение между ними напряжено в рамках центрального дискурса. Кроме того, сталинистская реанимация 'старого' ограничивается языковой формой, что обусловлено освоением пропагандой традиционных фольклорных жанров (Небезынтересны попытки использования фрагментов былин в пропагандистском фильме. В киносценарии к колхозной идиллии И. Пырьева «Свинарка и пастух», вышедшей в 1939 г., на с. 124 в качестве эпизодической фигуры появляется «пастух, седобородый дед, как будто вышедший из былин», которому отводится целая строка в былинном сказе; в экранизированной версии эта сцена, к сожалению, не вошла в фильм. Свадебное причитание (из этого же фильма) по сути является одним из типов подлинной севернорусской традиции причитаний, однако, в фильме это скорее оперная ария); в Третьем рейхе, напротив, связанные с германской древностью содержания при всей их расплывчатости представляют собой позитивные ценности.

Наше следующее идеологическое противоречие тесно связано с оппозицией <старое : новое>, правда оно характерно только для нацистской пропаганды: речь идет о восхищении и техникой с одной стороны, и, с другой стороны, о ностальгии по простой деревенской жизни и естественности природы, что находит выражение в лозунге «Кр о в ь и почва». Увлечение техникой было уже проиллюстрировано в главе 1; что касается «крово-почвенной» идеологии, то здесь необходимо упомянуть такие ключевые понятия, как *коренной (bodenständig)* или *органический (organisch)* и, кроме того, *коричневую рубашку* – цвет, символизирующий землю. Наиболее содержательными в этой связи являются контрпонятия, относящиеся к негативному полюсу: сюда относятся *не имеющий корней (wurzellos)* и часто употребляемые Геббельсом сочетания с компонентом *асфальт*, как то: *человек асфальта (Asphaltmensch)*, *асфальтовое чудовище (Asphaltungeheuer)* и т. д., которые возводят в образ искусственное отчуждение жителей города от «органического грунта». Город также является благоприятной почвой для смешения рас. Следующая цитата из А. Розенберга эксплицитно устанавливает желаемые соотношения (цит. по [Bering 1982: 132-133]):

(9) *Город мирового значения* начал свою работу по *уничтожению рас*. Ночные кафе *людей асфальта* превратились в ателье [...] Вокруг свирепствовал *расовый хаос* из немцев, евреев, *отчужденных от природы уличных поколений*.

Большевицкой же идеологии было глубоко чуждо как прославление "органически выращенного", так и очернение городской жизни. Коллективизация сельского хозяйства не только физически уничтожила миллионы крестьян, но и полностью разрушила традиционную русскую деревенскую культуру. С другой стороны, в ходе форсированного развития тяжелой промышленности в одночасье были построены целые города. Разумеется, из-за постоянной нехватки продовольствия не обошлось без мобилизации сельских масс, хотя при этом подчеркивались достижения новой колхозной жизни (противопоставление 'старого' и 'нового' постоянно превозносилось, например, в многочисленных советских поговорках, построенных на антитезе *раньше – теперь*; см. [Weiss 1998: 479-480]), а вместо приверженности земле чествовались так называемые достижения механизации – недаром трактор стал ключевым символом 'нового'. Это же относится к иконографии пропагандистского плаката, в которой крестьянка за рулем трактора гармонично соседствует со Сталиным за рычагом управления новой электростанцией.

Скорее попутно следует отметить различные идеалы женской красоты: если в нацистской системе ценностей крестьянская внешность оценивалась позитивно (Ср. следующую выдержку из брачного объявления «врача, чистокровного арийца» (цит. по [Baueg 1988: 60]): «Здоровая арийка, целомудренная, молодая, скромная, бережливая, *привычная к тяжелому труду, с широкими бедрами; должна носить обувь на низком каблуке, не носить серёг, по возможности не иметь собственности*»), то в советском плакате 30-х годов даже при изображении колхозниц одно время доминировал тип спортивной, подтянутой женщины, мало отличающейся от жительницы города (Bonnell [1997: 105 и сл.]. Особенно показателен в этой связи плакат К. Зотова (комментарий там же, 118-119) с цитатой-надписью из Сталина: «Любой крестьянин, колхозник или единоличник, имеет теперь возможность Жить по-человечески, если он только хочет работать честно...»). На плакате изображена семья реально существующего ударника и тракториста (Н. В. Лебедев). Помимо имплицитной отрицательной оценки прежней сельской жизни как недостойной человека, бросаются в глаза прежде всего атрибуты новой жизни «по-человечески», как то: электрическая лампочка, книжная полка с сочинениями Горького, Ленина и Сталина, а также – граммофон! Образцом, несомненно, служила городская культура, в

отличие от нацистской пропаганды, где она порицалась Геббельсом). Приход *колхозницы* на смену традиционной *бабе* как очередная инкарнация «нового человека» был отмечен отказом от традиционной косынки. Лишь в конце 30-х гг. в связи с новым акцентом материнской роли на плакатах вновь появляется *дородная крестьянка* в традиционной одежде (В военном плакате вновь доминирует защита традиционных ценностей от фашистских варваров: так, на плакате «Воин Красной Армии, спаси!» *крестьянка*, прижимающая к себе ребенка, снова изображается в традиционной косынке).

Трактование аграрной темы в сталинистской пропаганде, в отличие от её аналога в Третьем рейхе, проходит полностью под знаком 'нового', под знаком внедрения техники. И это не удивительно, ведь сельскохозяйственные предпосылки были абсолютно разными: необходимо было всеми силами преодолеть отсталость традиционного сельского хозяйства. То, что «органически выращенному» не полагалось бережное отношение, наглядно демонстрируют различные воплощенные и не воплощенные в жизнь мегапроекты того времени, будь то гигантские гидроэлектростанции вместе с прилежащими водохранилищами или такие комплексы рудников, как Магнитогорск, или же изменение направления сибирских рек на юг, оставшееся сокровенной мечтой. Природа была достаточно часто чуждым элементом, который нужно во что бы то ни было покорить. В сравнении с этим, стремление немецких строителей автострады (глава 1) причинить как можно меньший урон ландшафту звучит на удивление современно. За такими противоположными подходами к окружающей природе скрываются не только несхожести идеологических установок, но и, не в последнюю очередь, различия в топографических условиях: в Советском Союзе пространственные ресурсы были безграничны, тогда как в плотно населенном Третьем рейхе «народу без пространства» («Volk ohne Raum») приходилось бережно обращаться с природой, ведь новое «жизненное пространство» на европейском востоке еще предстояло завоевать.

Одним из интересных для лингвистики следствий идеологически противоположных подходов к деревенской культуре является различное отношение обоих режимов к диалектам. В Третьем рейхе, как показал Я. Виррер [Wirrer 1995], отмечается, несмотря на централизм языковой политики нацистского режима, терпимость в отношении территориальных «языков племён» в области пропаганды, как в случае с нижненемецкими диалектами. В качестве мотивации, наряду с повседневными теориями, к примеру, теорией объединяющего воздействия регионального языка якобы в силу его большей выразительности,

эмоциональности и образности, подчеркивалась также его действенность в качестве орудия в пограничной войне против датчан и поляков. В Советском Союзе, напротив, единственное, что никогда не использовалось в пропагандистских целях, это – территориальные варианты русского языка, тогда как просторечие или фольклорный интердиалект (правда, также базирующийся на региональных разновидностях) ставились очень высоко, не говоря уже об арго, жаргонах и сленге, которые в 1920-х гг. служили материалом для большевистской пропаганды.

Третье и последнее противоречие, которое нам предстоит рассмотреть, это – противоречие между рационализмом и иррационализмом, между приверженностью науке – с одной стороны – и восхвалением инстинкта и эмоций – с другой. Данное противоречие фигурирует только в нацистской пропаганде и указывает на уже отмеченный выше разрыв между увлечением современностью и подражанием древности. На обращение к науке как инстанции, способной придать законность нацистской идеологии, указывают прежде всего многочисленные заимствования из терминологии животноводства, расовой теории, социал-дарвинизма, истории и языкознания, которые уже частично упоминались. Некоторые из этих понятий меняют в результате идеологического захвата свое значение, при этом, однако, притязание на «научную точность» сохраняется, а двусмысленность, получающаяся в результате использования термина не по назначению, вполне осознается. Так, например, старое (хотя уже расширенное) значение слова *арийский* – «индогерманский», относящееся к истории языка, вступает в конфликт с новым значением «нееврейский», в результате чего при трактовке нового Закона о чиновниках потребовалась специальная оговорка, разъяснявшая, в частности, что «мадьярский» не является «неарийским» языком; из-за неясности это понятие даже было отклонено одним школьным учебником как «непригодное» [Schmitz-Berning 2000: 57] и заменено в законодательстве на *deutschblütig* (немецкой крови). Не лучшая участь постигла слово *антисемитский*, употребление которого из внешне-политических соображений (в особенности с учетом арабского мира) было запрещено министерством пропаганды специальными инструкциями прессе [там же: 38]; его субститутом стало *антиеврейский*.

На фоне такого рода приверженности науке ярким контрастом выступает часто отмечаемый в литературе антирационализм нацистской идеологии, который проявляется в позитивной оценке таких ключевых слов, как *слепота* (*blindlings*), *слепая вера* (*blinder Glaube*) и прежде всего часто комментируемого *фанатичная клятва / признание* (*fanatisch* (*es*

Gelöbniß / Bekenntniß etc.)). Недаром папа римский Пий XI выразил протест против размытия границ между языком политики и языком религии. В очередной раз показательны в этом плане коллокации. В качестве значений лексической функции *Magin* от *фанатизм* выступают оба термических экстремума (ср. *mit kaltem Fanatismus und heißem Hass* (с холодным фанатизмом и горячей ненавистью), но и также: *mit heissestem Fanatismus* (с горячайшим фанатизмом)). Это особенно примечательно тем, что *холодный* на языке нацистов обычно имеет коннотацию 'мёртвый', 'обескровленный', 'стерильный' и т. п. (ср. *холодный разум, холодная интеллектualityность* [Bering 1982: 11-12]). Следующие экстремумы иллюстрируют сочетания *со святым / диким / упрямым фанатизмом* (Schmitz-Berning [2000: 228]). Употребление характерных слов самим Гитлером первоначально не было закреплено за определенной референтной группой, поскольку в «Майн кампф» речь идет о *фанатически настроенном коммунисте* и о *фанатической дикости русских евреев*. В новом издании, вышедшем во время войны, в последнем примере «*фанатическая*» было заменено на «*дьявольская*»). Позитивное оценивание потери контроля над собственным «рацио» становится еще более явным в ключевом слове *инстинкт*, которое часто снабжается атрибутами *здоровый, природный, расовый* и т. д. (так, «*политический инстинкт* нового немецкого руководящего слоя» должен «реагировать естественно и непринужденно»). В «Майн кампф» даже *истерические страсти* расцениваются положительно. Всё это не находит соответствий в сталинистской пропаганде: ни *слепоты*, ни *фанатичный / фанатический* не входят в характеристику «наших», а *инстинкт* не служит руководством к политическому действию.

Всё это еще не подразумевает, что интеллект полностью порицался нацистской идеологией; скорее здесь, как подробнее излагает Беринг [Bering 1982: 94-147], открывается целый аксиологический спектр. Для «своих» наиболее задействованным является слово *Geist* (дух, ум); ср.: *рабочий умственного труда* или *работающий головой* (*Geistesarbeiter / Arbeiter der Stirn*), *духовная Германия* (*das geistige Deutschland*). Более амбивалентно ведет себя слово *интеллигенция*, но и здесь возможна комбинация с определениями *народная* (*völkisch*), *расовочистая* (*arteigen*), *истинно немецкая* (*echt deutsch*). Худшая ситуация наблюдается, правда, со словами *интеллигентны* (*Intelligenzler*), *интеллектуалисты* (*Intellektualisten*) или даже *звери интеллекта* (*Intellektbestien*): все они принадлежат к лагерю *лишенных собственных корней людей асфальта* (*wurzellose Asphaltmenschen*). Это же повсеместно относится к *интеллектуалам*

(*Intellektuelle*): их разум является своего рода антонимом *здравому смыслу*, чаще всего он снабжается атрибутами *абстрактный*, *бескровный* и *разлагающий*, так как отличается своей *тягой к критике* и духом постоянного *отрицания* (по словам Геббельса); особенно зловеще звучит, разумеется, сочетание *еврейско-интеллектуальный* (*jüdisch-intellektuell*).

Здесь, как показывает Д. Беринг на примере источников по истории немецких коммунистов, можно отметить определенное сходство двух идеологий. У марксизма, понимающего себя как научное мировоззрение, не было причин для клеймения интеллектуалов; если тут и встречалось ругательное слово, то объяснялось это прежде всего недоверием к категории людей умственного труда, работающих на договорных началах, которую сложно вписать в классовую схему. Лица этой категории называются то «мелкобуржуазными», то «холопами буржуазии» и подозреваются в неустойчивой позиции в классовой борьбе. В русском языке история слов *интеллигент*, *интеллектуал* и т. д. еще не написана, но коннотация 'слабовольный, колеблющийся, бездеятельный' закрепляется по крайней мере за словом *интеллигент* уже с начала XX века. После Октябрьской революции *интеллигенция* включается в антитетику «старого / нового» молодой советской власти: представитель старой, дореволюционной интеллигенции диффамируют как *гнилую интеллигенцию*, в противовес этому, позднее появившаяся *новая советская интеллигенция* оценивается положительно, а сталинская конституция 1936 г. официально объявляет Советский Союз государством рабочих, крестьян и интеллигенции. Невзирая на это, пейоративная традиция продолжает жить дальше (ср. соответствующие производные формы *интеллигентик*, *-ище*, *-щина*).

Подводя предварительные итоги данного исследования, можно отметить следующее: национал-социалистическая идеология и подчиненный ей пропагандистский дискурс обнаруживают больше внутренних противоречий относительно трех рассмотренных оппозиций <старое : новое>, <природа : техника>, <эмоцио : рацио>, чем современный им сталинистский дискурс, поэтому последний оказывается более когерентным в аксиологическом отношении. В советской пропаганде сильнее ощущается еще противоречивая оценка 'старого', которое то предстает в виде изжившей себя системы эксплуатации и отсталости, то вновь мифически преображается. Однако во втором случае речь идет лишь об инструментализации существующей древней, географически и социально абсолютно периферийной текстовой традиции вместе с присущим ей языковым запасом формул для орнаментально-панегирических целей; реальное воссоздание соответ-

ствующих исторических и мифических смыслов с этим вряд ли связано, не говоря уже об их претворении в руководящие принципы для актуальных действий.

4. О разных образах врага. Для обоих языков пропаганды характерно четкое противопоставление образов врага. Как уже иллюстрировалось на приведенных ранее примерах, образ врага в нацистской пропаганде можно без труда свести к единому общему знаменателю: еврей. В языковом плане это выражается в изобилии соответствующих сложных слов типа *еврейско-либеральный* / *-марксистский* / *-большевистский* / *-интеллектуальный*, а также в обобщающем диффамирующем слове *оевреенный* (*verjudet*); вездесущность врага сигнализируют слова *всееврейский* (*alljüdisch*), *всеюда* (*Alljuda*), *мировое еврейство* (*Weltjudentum*), которое, несмотря на исходящую от него всеобщую угрозу, превращается обратно в *жидок* (*Jüdlein*). Все остальные языковые маркеры отчуждения, каковыми, к примеру, являются слова *лишенный расы* (*entrasst*), *дегенерированный* (*entartet*), *асфальто-*, *плутократы* (= западные державы), а также метафоры паразитирования (см.: глава 2) тяготеют к тому центру, к которому они присоединяются атрибутивно или предикативно. При этом реактивируются древнейшие защитные рефлекссы, как, скажем, в обозначении *номады*, позволяющем провести необходимую параллель со второй группой жертв – цыганами – и теперь уже включающем *лишенных корней* жителей города.

В образном коде еврейская звезда выполняет функцию общего маркера отчуждения: на плакате из [„Parole der Woche“ 18/ 1939] по случаю вручения американскому президенту «медали иудея» изображено искаженное лицо Ф. Д. Рузвельта, обрамленное еврейской звездой; на фоне медали – надпись: «Франклин Д. Рузвельт – наш современный Моисей», а внизу вопрос: «За каких вообще идиотов держит господин Рузвельт нас неевреев?» Сегодняшним наблюдателям еще абсурднее покажется плакат 1938 г. на тему «дегенерированное искусство», где фигурирует темнокожий саксофонист с подчеркнута толстыми губами, с серьгами, в цилиндре и во фраке; на лацкане у него – еврейская звезда (Параллелизм в изображении негров и евреев можно наблюдать и в другом плакате [„Parole der Woche“ 1940/24], в текстовой части которого речь идет только о «гнусных поступках» темнокожих солдат французской армии; между тем на плакате, рядом с двумя негроидными физиономиями, неожиданно появляется фигура, воплощающая стереотип еврея [Neuen 1983: 72]).

Следствием всеобщей угрозы, исходящей от этого врага, является, естественно, отмежевание от него всеми возможными средствами: особенно точно это передает уже знакомый

нам из главы 1 девиз: «когда двое делают одно и то же, то это уже не одно и то же». Так, господин Лёвенштайн превращается в еврея *Лёвенштайна*, еврейский врач или адвокат становится *Krankenbehandler* (*медработником*) или *Rechtskonsulent* (*консультантом по праву*), о чем уже писал В. Клемперер [Klemperer 1946]. К семиотическому «отлучению» относится не только звезда Давида, но и надпись *Jude*, стилизованная под еврейские литеры, а также желтый цвет, который в средние века маркировал различные социальные маргинальные группы (включая проституток) (Впрочем, использовался не только желтый цвет: в оккупированной Варшаве, например, звезда Давида была бело-синего цвета). Всего лишь шаг разделяет социальное и правовое отмежевание, распространившееся вскоре и на предприятия, школы и даже (в случае с крещеными евреями) кладбища, от территориально-выселения в гетто и потом в концлагеря.

Резкий тому контраст – образ врага в сталинском Советском Союзе: здесь нет общего знаменателя, вместо того в социалистическом пандемониуме находим множество старых, т.е. дореволюционных врагов (*капиталист, монополист, империалист, буржуй, поп, помещик и т. п.*), к которым с началом коллективизации примыкает новая разновидность: *кулак, лодырь, прогульщик, тунеядец, паразит, вредитель*. Нельзя забывать и о страхах, нарастающих, постоянно подпитываемых (в связи с фобией окружения молодого Советского государства), перед *диверсантами, агентами, шпионами, иудами, двурушниками, изменниками и предателями*. Некоторые маркеры предназначены для отдельных профессиональных групп, как, положим, эпитет *формалист*, относящийся к представителям нежелательных направлений в искусстве (Мейерхольд, Шостакович). Среди зооморфных метафор некоторые также припасены для специальных групп противников, ср. *акулу* или *паука*. Для обозначения военных противников рождаются вновь «реактивированные» слова ругательства (ср.: *изувер, зверь, стервятник и т. д.*); кроме того, здесь находит употребление слово *нечисть*, уже использовавшееся применительно к различным внутренним врагам. Если при этом еще остается кандидат на роль общего маркера, то это, скорее всего, *враг народа* (Об официальной отмене этого термина в период десталинизации см. [Weiss 1998: 493-494]; о происхождении этого термина из лексики Французской революции и его неофициальном дальнейшем употреблении после 1956 г. см. [Вайсс 2000: 543]), хотя оно и обозначает только внутреннего врага. Подобного референциального ограничения не обнаруживает относящееся к полю метафор ‘болезни, распада’ гнездо слов *гнилой, прогнить, загни-*

вающий и т. д., которые употребляются повсеместно; см. [Weiss 2000a: 204-212].

В отличие от оформления образа еврея, когда достаточно было лишь прибегнуть к стереотипам европейской карикатуристической традиции (Подробнее об этом: [Die Macht der Bilder 1995]. Впрочем, в случае Л. Троцкого этим клише воспользовалась и советская пропаганда. Так, например, в карикатурах В. Дени «Шагают к гибели своей» и «Весь в вашем распоряжении» (выставочный каталог 1992, № 122 и № 123) смехотворно маленькая фигура Л. Троцкого с явно выраженными еврейскими чертами лица еще дополнительно снабжена надписью «Иуда Троцкий»), у ретраиваемых образов врага отмечается нехватка способов визуализации; их наличие еще можно наблюдать в случае зооморфных метафор (Изображая нацистов, карикатурист В. Дени предпочитал представлять их в виде человекообразных обезьян или свиней – и то и другое активизирует коннотацию «бескультурный, примитивный»; наряду с этим нацист может быть представлен даже в виде жабы; ср. № 117. Распространенным способом воплощения *фашистского гада* или *фашистской гадины* была либо змея, либо что-то вроде волосатого осьминога в виде свастики), равно как враги, унаследованные от 1920-х гг., легко узнаваемы по таким типичным атрибутам, как цилиндр, цепочка для часов (капиталист) или толстое брюхо (поп). Также характерно, что у *врага народа* нет типизированного или хотя бы идентифицируемого лица: на одном из плакатов Н. Коршунова 1933 г. с лозунгом «Брак – подарок классовому врагу» изображен, хотя и чудовищно бесформенный, но, странным образом, безликий обвиняемый перед скамьей подсудимых, рядом приводится текст его самоговора: «Я – враг рабочего правительства» [Kummer 2000, 289-290]. Эта безликость находит естественное объяснение в своеобразии сталинской параной с её пристрастием представлять своего врага в маске; не зря излюбленными штампами злостной пропаганды того времени были слова: *разоблачить* или *срвать маску с лица X-а*. В эту иконографию идеально включается следующая повседневная метафора: на военном плакате «Враг коварен – будь на-чеку» В. Иванова и О. Буровой (1945 г.) молодой советский солдат срывает овечью шкуру с головы нацистского волка, помеченного свастикой.

Вывод: галереи образов врагов в обеих политических системах кардинально отличаются друг от друга. Нацистская пропаганда в конечном счете довольствуется тем, что еврей – геометрическое место всего зла, тогда как сталинистская пропаганда имеет в наличии самые разнообразные и зачастую даже абстрактные типы. Очевидно, это объясняется фундаментальной разницей в функционировании тер-

р о р а: в национал-социалистическом государстве террор был направлен (вплоть до начала войны) против некоторых четко очерченных групп этнически и социально маргинализированных жертв, которые необходимо было обособить: евреев, цыган, гомосексуалистов, умственно отсталых, духовных лиц; террор же сталинистского образца мог в принципе коснуться любого, в частности, собственный аппарат власти (заметим, что приверженцы партии Гитлера после путча Рёма избежали дальнейших чисток) и даже самое близкое окружение диктатора. Грубо упрощая, принципиальное различие можно сформулировать так: гитлеровский террор был более «рациональным» или предсказуемым в том смысле, что был направлен против тех, кто с самого начала был исключен из союза «фольксгеноссе» как «чужой»; сталинский террор, напротив, коснулся именно «своих», которые в один миг могли превратиться в «чужих» без каких-либо рациональных на то оснований. Найти объяснение сталинской разновидности террора намного сложнее, чем его нацистскому аналогу, ведь до сегодняшнего дня нет единого мнения по этому вопросу (О состоянии исторической дискуссии на сегодняшний день см. [Schmiechen-Askermann 2002: 80-81]). При всем том ни в коем случае нельзя однозначно сводить первопричину сталинского террора к параноидной личности его создателя.

В заключение добавим, что отдельные механизмы функционирования террора были различными: так, ритуал самооговора является особенностью сталинской системы, а прославление доносительства в Третьем рейхе не переживает такого мифологического возвышения, как в Советском Союзе, где маленький *Павлик Морозов*, выдавший, как гласит легенда, на расправу собственного отца (Миф о «*гитлерюнгене*» *Квиксе* заметно отличается этим эпизодом от советского аналога, см. [Голомшток 1994: 356]). По-видимому, донос на собственных родителей не предусматривался кодексом чести Третьего рейха), был причислен к пантеону советских мучеников: целая детская организация «Октябрята» была названа его именем, на детских площадках ему были поставлены памятники, а миф о нем лег в основу фильма С. Эйзенштейна («Бежин Луг»).

5. Культ фюрера vs. культ личности.

Наш последний сравнительный критерий вновь относится к явлению, допускающему, казалось бы, большую степень схождений, которое, однако, в действительности поднимает на поверхность еще более глубокие различия. Прежде всего поражает совпадение девизов *Für Führer und Vaterland* и *За родину, за Сталина*, а также огромная ономастическая продуктивность с обеих сторон в использовании соответствующих личных имен при наименовании мест, организаций и институтов (ср.: *Adolf-Hitler*

Kanal, -Platz; Hitlerjugend, Adolf-Hitler-Schule, -Spende, -Dank с одной стороны, и *Сталино, Сталинск, Сталинерад, Сталинабад, Сталинири, Пик Сталина, Залив Сталина; Сталинская Конституция, Сталинская премия* – с другой). Правда, в этом «почетном» ономастическом соревновании Сталин превосходит своего противника по той причине, что он а) в силу мультинационального характера советской системы восхваляется на многих языках (ср. приведенные таджикские и грузинские названия городов) (Расширение социалистической государственной системы после окончания Второй мировой войны породило дальнейшие иноязычные образования типа *Stalinograd, Sztalinváros*); б) дает свое имя промышленным изделиям (ср. трактор «*Сталинец*»), а также сплав и мера твердости *сталинит*); в) прилагательное *сталинский*, наряду с *ленинский*, переходит из разряда притяжательных прилагательного (в широком смысле) в разряд качественных (ср. *сталинская забота*) (Обратная сторона этого явления проявляется в ироничном истолковании данного определения в неофициальном дискурсе; ср. *сталинская дача, сталинский курорт = лагерь, заключение* и *сталинские шлепки = расстрел*; см. [Мокиенко/Никитина 1998: 583]).

Все это еще, правда, не отличается особой оригинальностью: культ личности приводит к подобным «отклонениям» также во многих других государствах, в настоящее время, например, в Северной Корее, Туркменистане. Прежде чем обратиться к текстовому оформлению обоих культов, необходимо указать на их очень разноплановый статус внутри соответствующих идеологий. Хотя Гитлер и не основал НСДАП, он все же очень быстро стал ее неоспоримым лидером и помог ей захватить власть; этой позиции он добился благодаря своей харизме и риторическому воздействию на массы, что оправдало себя с момента принятия решения принимать участие в парламентской игре и в успехе многочисленных предвыборных испытаний. Нацистская идеология, с самого начала рассчитанная на авторитарную фигуру лидера, стала благодатной почвой для такого развития.

Впрочем, Сталин, с самого начала находясь в тени законного основателя партии Ленина, не мог претендовать на то, что именно ему удалось привести марксизм в Советском Союзе к победе. Залогом последовавшего его взлета являются совсем другие качества по сравнению с Гитлером: Сталин был всем чем угодно, только не харизматической фигурой и к тому же боялся масс, как черт ладана; несмотря на это, он прекрасно сумел использовать в собственных интересах внутренние расстановки сил. Однако это еще не было обоснованием для создания собственного культа личности, тем более что партия была в курсе того, что

его способности как теоретика, ратора и предводителя оставляют желать лучшего, а также помнила его пассивную роль во время Октябрьской революции и негативную оценку его Лениным. В отличие от национал-социалистического движения, самой главной помехой была коллективистская ориентация марксистско-ленинской идеологии, чинившая препятствия всяческому культу личности. Все эти препятствия Сталин устранил с пути двойной процедурой: постепенное создание культа Ленина (см.: [Тумаркин 1997; Ennker 1997]) позволило ему, в соответствии со знаменитым мифом о клятве верности и согласно девизу «Сталин – это Ленин сегодня» (очередное проявление семантики преемственности!), сформировать параллельный культ Сталина, чья законность восходила к культу Ленина (О закреплении этого явления в иконографии ср. вошедший в традицию сталинского периода известный фотомонтаж, на котором изображены сидящие на скамейке в парке Сталин с Лениным в Нижнем Новгороде/Горьком. В двойном фотомонтаже появился однажды и Гитлер, что оказалось, однако, лишь эфемерным эпизодом предвыборной борьбы (выборы в рейхстаг 5.3.1933): на одном из плакатов с надписью «Der Marschall und der Gefreite kämpfen mit uns für Frieden und Gleichberechtigung» («Маршал и ефрейтор борются вместе с нами за мир и равноправие») рядом с П. Гинденбургом в штатском предстает Гитлер в черном кожаном плаще), и посредством террора 1930-х гг., в особенности московских показательных процессов, избавиться от всех без исключения обладателей коллективной партийной памяти.

На основании изложенного определение И. Кершоу нацистского режима как «харизматической диктатуры фюрера», а сталинизма как «бюрократической диктатуры партии» становится более понятной; это также объясняет, почему иначе, чем в случае с Гитлером, путь к культовой фигуре для Сталина был сопряжен с огромными усилиями и почему он весьма долго тщательно скрывал свои планы.

Культ фюрера в Германии основывался еще и на более удачных предпосылках в другом смысле: залог его успеха заключался в более современном маркетинге. На своем пути к институтам парламентской демократии НСДАП научилась владеть методами предвыборной борьбы, что также подразумевало заимствования у современной рекламы; Беренбек [Behrenbeck 1996] говорит даже о распространении бренда «Гитлер». Это, к примеру, означало возрастающую стереотипизацию портретного стиля: Гитлер, который, впрочем, начал украшать предвыборные плакаты НСДАП лишь с 1932 г., хотя и занимал героически «монументализированную позу» предводителя, никогда не изображался помпезно, а был одет в простую, часто военную форму

(или черная кожаная куртка, или коричневая нацистская униформа); при этом он всегда принимал одинаково мрачное, («фанатически») решительное, озлобленное выражение лица. Там, где располагался слоган типа «*Фюрер, мы следуем за тобой!*», на заднем плане плаката изображались массы [там же: 63]. Не стеснялись и заимствований у авангардного строительства: на плакате, посвященном голосованию по Закону о полномочиях от 19.8.1934, тот же самый фронтальный портрет Гитлера с обязательной мрачной «миной» воспроизводится целых шестнадцать раз, каждый раз с простой подписью „ja!“, что одновременно отражает установку на желательное однородное поведение избирателей, насильственно приобщаемых к господствующей идеологии [там же: 64-66]. К возрастающей унификации внешних картин проявления бренда присоединяется «защита бренда»: сюда относится (изложенная в первой главе) языковая монополизация понятия *фюрер*, которая не имела аналога в сталинизме (В сочинениях самого Сталина слово *вождь* встречается не менее 101 раза в примерах нейтральных с референциальной и аксиологической точки зрения. Из них 16 раз оно употребляется применительно к Ленину, а также другим партийным величинам, среди которых С. М. Будённый, Я. М. Свердлов и К. Е. Ворошилов; даже среди классовых врагов находятся единичные *вожди*; ср. *вождь гитлеровской молодежи Бальдур фон Ширах*) (наименование *вождь* полагалось не только Сталину, но и Ленину, иногда оно встречается и у других партийных деятелей); в этой связи следует указать на отсутствие русского соответствия слову *Gefolgschaft*.

Еще более современным представляется комплекс мероприятий по продвижению товарного знака, а именно производство аксессуаров (не всегда исходящее от партии) с изображением фюрера (пивная кружка, диванная подушка и даже голова Гитлера в витринах мясных лавок, вытопленная из свиного сала [там же, с. 68]) или медовые пряники в форме сердца как предвыборный подарок с девизом „*Deutsche Frauen, deutsche Treue, Adolf Hitler wählt aufs Neue!*“ («Немецкая верность, немецкие жены, Адольфа Гитлера выбирайте снова вы» (нем.)) [Bauer 1988: 157]. Тенденция к злоупотреблению преследовала и другие символы правящей партии, в особенности свастику. Геббельс расценивал такие продукты как китч, хотя и признавал, что те отвечают массовым потребностям. И все же, принимая во внимание слишком спонтанный энтузиазм населения, партийной верхушке пришлось прибегнуть к сдерживающим мерам:

(10) Имперским министерством народного образования и пропаганды разрешаются к продаже следующие товары: новогодние открытки и ёлочные украшения со свастикой,

прозрачный портрет рейхсканцлера с устройством для иллюминации, куклы СА и СС с учётом качества их выполнения, а также того, что одеты они в достойную униформу СА и СС. В список запрещенных товаров были включены прежде всего: ... галстуки с узором-свастикой, подставки для меню из дерева в форме свастики, свитеры с вышитой свастикой и нашивкой 'Хайль Гитлер!' [Франкфуртер Цайтунг, 1.-2.12. 1933]

Подобная невербальная сопроводительная деятельность свидетельствует об абсолютно современном понимании PR-а. Это же относится к популистским усилиям приблизить личность Гитлера к массам, в частности, через публикацию фотоальбома «Гитлер, каким его никто не знает» (выполненного придворным фотографом Гитлера Г. Хоффманом) с фотографиями из частной жизни фюрера, а также его родителей.

В сравнении с этим вербальный культ фюрера выглядит скорее традиционно. Также здесь нельзя не отметить элементы кича, ср. следующую версию мифа о сотворении мира (цит. по [Вауер 1988: 59]):

(11) Он – творец и хранитель нашей великой прекрасной германской империи, и тем самым – хранитель моего маленького кусочка земли, моего сада. / Каждый цветок, который здесь цветёт, цветёт в благодарность ему, каждое яблоко, которое спеет, спеет в благодарность ему. [H.G. Schulzendorf 1939]

Заемствования из языка религии далеко не редки, ср. цитату из Клемперера [Klemperer 1946: 45]: «В тринадцатый час Адольф Гитлер придет к рабочим». Характер откровения, которые носят гитлеровские вдохновения, передает следующая выдержка:

(12) С гор с их царственной свободой спускаются пророки, они страстно отстаивают истину в союзе с Богом. К величественному одиночеству гор все время стремится Фюрер. Разговаривая с самим творческим духом, овевающим даль и фирн скал, принимает он свои поворотные решения. Он выходит из одиночества гор, как человек неограниченной власти... [S. Leffler, Christus im Dritten Reich]

Существенным, учитывая ниже следующее, представляется именно момент уединения фюрера от масс в одиночестве гор.

Теперь обратимся к культу Сталина. Очевидно, что здесь тоже наблюдаются тенденции к «брендингу», хотя принимают они сравнительно традиционные черты. В области портретирования, с Гитлером часто совпадает простая военная форма, которая, правда, позже (особенно в фазу генералиссимуса) выдержана в белых тонах. Поза предводителя также не чужда Сталину; кроме того, он фигурирует на плакатах в роли машиниста локомотива (немыслимая поза для Гитлера!), а также капитана государственного корабля. Роль проекти-

ровщика и инициатора принадлежит к репертуару обоих: если Гитлер охотно фотографировался перед дорожными стройками и архитектурными моделями, то Сталин, к примеру, изображался перед картой юга России с отмеченными на ней гигантскими проектами строительства гидроэлектростанций или прикладывал свою руку к рычагу управления при торжественном открытии мощной электростанции. Существенную разницу, однако, представляет выражение лица: в отличие от Гитлера с его неизменным озлобленным выражением лица, Сталин часто изображается с расслабленной улыбкой на лице, что дополнительно подчеркивается таким атрибутом, как трубка. Одиночество гор – также не в духе Сталина. Напротив, он, как единственный в кремлевском кабинете, кто неустанно бдит о судьбах своей спящей страны, является олицетворением *бдительности* [Weiss 1995: 382]. Этот мотив прослеживается и в советской колыбельной песне («За древней кремлевской стеною / Не спит он порою ночью, / В труде не щадит свои силы, / чтоб в радости рос ты, мой милый»).

Потоку мерчандайзинга в Третьем рейхе сталинизм не мог противопоставить (по понятным соображениям) ничего равноценного. Равным образом отсутствует популистское ознобление с частной сферой жизни Сталина. Несмотря на то, что в вербальной среде оба культа вновь сближаются, пальму первенства заслуживает, пожалуй, Сталин. Характерным и для многих других типов текста является насыщенность сталинских песен [Щербинина 1998] мифами: *вождь – горный орел* («Как орел среди орлят, / Самый первый депутат»), *солнце* («За мостами от заставы / Выходит солнышко во мгле, / Вместе с солнцем встанет рано / Сталин – солнышко в Кремле») (В Третьем рейхе солнце как метафора не являлось знаком Гитлера, вместо того оно ассоциировалась со свастикой либо с германцами как таковыми (см. примечание 7)), гениальный учитель, отец, но и замена матери («Как учит отец различать добро, / Так нас заставлял терпеливо Сталин. / Как мать неустанно растит сыновей, / Растишь ты героев на диво, Сталин»); его имя означает не что иное, как источник жизни («Это имя хранит нас от горя и бед», «Если от горя нечем дышать, / Произнеси только слово Сталин – / И к подвигам будешь готов опять»). Гитлер как «создатель» садовой флоры (пример 11) находит серьезного соперника в «древо жизни» по имени Сталин:

(13) Внедряясь в почву прочными когтями, / Сияя благодатною листвою, / Нас осеняя мощными ветрами, / Ты – древо жизни, Сталин, вождь родной...

Верх блаженства составляет нанизывание как можно большего числа различных ролей:

(14) Живи и славься, *Вождь, Отец народов*, – / Ты, ставший нам всех ближе и род-

ней, / Генералиссимус прославленных походов, / Великий Сталин – солнце наших дней!

К этой коллекции остается лишь добавить героя из волшебной сказки и доблестного богатыря из былины, от одного крика которого враг уже готов выронить оружие из рук (ср. [Weiss 1998: 474]). Таким образом, вывод о том, что репертуар ролей Сталина оказывается значительно богаче репертуара Гитлера (В изобразительном искусстве нужно ставить вопрос иначе. Так, существует не только монтаж, выполненный Г. Гореловым в 1940 г., на котором Сталин предстает верхом на коне в стиле старорусских былинных героев В. Васнецова 1898 г.; есть также портрет Гитлера (работы Х. Ланцигера 1938 г.) в рыцарских доспехах верхом на лошади [Голомшток 1994: 209]. Кроме того, разумеется, наш обзор не будет полным, если не принимать во внимание представление персонажей Гитлера и Сталина в фильмах), представляется в целом обоснованным; более того, этот репертуар имеет древние источники, уходящие корнями, прежде всего, к эпике кавказских народов [Vajskorp 2000]. Точно так же спектр панегирических текстов на службе культу личности Сталина, несомненно, обширнее, чем то, что было в распоряжении Гитлера (ср. ссылки на большие архаизирующие формы советского фольклора в главе 3). В первую очередь отношение подчиненных к вождю проникнуто большей степенью эмоциональности: атрибутам, имеющим решающее значение, – *близкий, родной, любимый* – свойственна еще и градация («Он живет в нашем сердце навек, / Самый мудрый и самый любимый, / Самый близкий для нас человек!»; см. также *ближе и родней* в примере 14); такая близость к народу являет резкий контраст Гитлеру, решившему уединиться от общей массы в горах!

Тем самым мы приближаемся к рассмотрению, на мой взгляд, решающего отличия культа фюрера от культа личности: культ Сталина не мог (по меньшей мере вербально) обойтись без коллективистского принципа, в то время как культ фюрера свидетельствует о претензии на исключительную элитарность; массы были для него не только на практике, как у Сталина, но и *expressis verbis* лишь маневрируемой массой, безнадежно подчиненной духовно, массой, которую он открыто презирал (цитаты в (а) из: [Winckler 1970: 33 и сл.]; цитаты (б) – (е) из: [Schmitz-Berning 2000: 478]:

(15а) Ведь все мы знаем, что задачу руководящего государственного деятеля в наши времена видят не столько в том, чтобы он обладал творческой мыслью и творческим планом, сколько в том, чтобы он умел популяризовать свои идеи перед *стадом баранов и дураков* и затем выклянчить у них их милостивое согласие на проведение его планов.

Ну, а что делать государственному деятелю, которому не удалось даже какой угодно лестью завоевать благоволение этой *толпы*?

Да разве вообще любое гениальное действие в нашем мире не является наглядным *протестом гения* против *косности массы*?

Или неужели в самом деле найдутся такие, кто поверит, что в этом мире прогресс обязан не *интеллекту отдельных индивидуумов*, а *мозгу большинства*? [Моя борьба: 68-69]

(15б) Английская пропаганда прекрасно поняла *примитивность чувствований широкой массы*. Блестящим свидетельством этого служит английская пропаганда по поводу "немецких ужасов". [Моя борьба: 153]

(15в) Восприимчивость массы очень *ограничена*, круг ее понимания узок, зато забывчивость очень велика [Моя борьба: 150]

(15г) Всякая пропаганда должна быть доступной для массы; ее уровень должен исходить из меры понимания, свойственной *самым отсталым индивидуумам* из числа тех, на кого она хочет воздействовать. Чем к большему количеству людей обращается пропаганда, тем *элементарнее* должен быть ее идейный уровень. [Моя борьба: 150]

(15д) С совсем другими чувствами наблюдал я теперь *массовую* демонстрацию венских рабочих, происходившую по какому-то поводу в эти дни. В течение двух часов я стоял и наблюдал, затаив дыхание, этого бесконечных размеров *человеческого червя*, который в течение двух часов ползал перед моими глазами. [Моя борьба: 38]

Из этих цитат очевидно, почему Гитлер вряд ли придавал большое значение тем же эпитетам, что и Сталин: кто же хотел быть «самым близким» стаду баранов да еще червем?

Возвращаясь к началу второй главы, необходимо отметить, что известное нам из анализа советской системы референциально-аксиологическое отнесение квантора общности к разряду «своих», а квантора существования к противнику, или разряду «чужих», – чему противоречат словообразования вроде «всеиуда», – не может функционировать в нацистской пропаганде уже потому, что гениальный индивидуум аксиологически превосходит косную, тупую массу. Обособление может равным образом представлять в этой системе ценностей позитивное, данное природой или Богом начало, а не просто являться маркером врага. С другой стороны, коллективизм требуется только там, где «многие» могут последовать за «одним»; последний не думает о том, чтобы слиться с массами, даже если девиз звучит так: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“.

Расхождение между двумя языками пропаганды наблюдается в их центральной области. Сталин, вероятно, и разделял представление о «стадах баранов», но открыто это выражать он бы не осмелился. Вместо того, преимствен-

ность центральной рамки внутри «новояза», т. е. поддержание аксиологической оппозиции «квантора общности / квантора существования» на протяжении всего сталинского периода сохраняется: культ гениального индивидуума не мог даже в языковом плане вступать в конфликт со старым коллективистским идеалом. Пропагандистский приём заключался, соответственно, в следующем: включив средствами языка культ личности в существующую систему ценностей и даже подчинив его ей, создать тем самым иллюзию максимальной преемственности системы (Ср. слова А. Буллока: «Применительно к Гитлеру, идеология заключалась в том, что фюрер определялся как такую; в случае Сталина она сводилась к тому, как, по мнению Генерального Секретаря, её определяли Маркс и Энгельс»).

Подводя итоги последней главы, можно, таким образом, констатировать парадокс. С одной стороны, культ фюрера в Третьем рейхе представляет собой законченное целое, тогда как сталинский культ личности, при всех беспредельных (а для постороннего наблюдателя смехотворных) проявлениях мании величия, не может обойтись без такой «шапки-невидимки», как коллективизм. С другой стороны, сохраняется сущность центральной аксиологической оппозиции советской пропаганды, в то время как в пропаганде национал-социализма она задействована двояко, что отражается в противоречивых явлениях: с одной стороны, одну и ту же массу, в соответствии с семантикой единства и согласно лозунгу «Общее благо впереди личного», вербуют в «позитивных» целях, с другой стороны, она же противопоставлена гениальному индивидууму как объект, по сути заслуживающий презрения. Тем не менее, в результате наблюдается – по избранным в этой работе сравнительным критериям – гораздо больше расхождений двух языков пропаганды, чем сходств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабурина, Н.И. 1993 (автор-составитель) *Россия. 20 век (История страны в плакате)*, Москва.
- Вайскопф, М. 2000 *Писатель Сталин*, Москва.
- Вайсс, Д. 2000 Новояз как историческое явление. В: Х. Гюнтер / Е. Добренко (ред.), *Социалистический канон*, Санкт-Петербург.
- Винокур, Г. 1925 *Культура языка*, Москва.
- Голомшток, И. 1994 *Тоталитарное искусство*, Москва.
- Горяева, Т.М (отв. ред.) *История советской цензуры. Документы и комментарии*, Москва.
- Добренко, Е. 2000 Между историей и прошлым: писатель Сталин и литературные истоки советского исторического дискурса. В: Х. Гюнтер / Е. Добренко (отв. ред.), *Социалистический канон*, Санкт-Петербург.
- Душенко, К. 1996 *Русские политические цитаты от Ленина до Ельцина*. Что, кем и когда было сказано, Москва.

- Елистратов, В.С. 1999 *Словарь крылатых слов (русский кинематограф)*, Москва.
- Земцов, И. 1985 *Советский политический язык*, London.
- Купина, Н.А. 1995 *Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции*, Екатеринбург/Пермь.
- Мокиенко, В. М., Никитина Т. Г. 1998 *Толковый словарь языка Совдепии*, Санкт-Петербург.
- Апресян Ю.Д. и др. (отв. ред.), 2000 *Новый объяснительный словарь синонимов современного русского языка. Второй выпуск*, Москва.
- Ржевский, Л. 1951 *Язык и тоталитаризм*, München.
- Селищев, А.М. 1928 *Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926)*, Москва.
- Тумаркин, Н. 1997 *Ленин жив! Культ Ленина в Советской России*, Санкт-Петербург.
- Фесенко, А и Т. 1955 *Русский язык при советах*, New York.
- Чудинов, А.П. 2002 *Россия в метафорическом зеркале IV. В: Русская речь 1*.
- Щербинина, Н.Г. 1998 «Герой» воспетый. Политологический анализ песен о Сталине. В: *Полис 6*.
- Юровский, В. 2000 Структура и стиль советского политического некролога после 1945 года. В: D. Weiss (ed.), *Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen)*, Bern/Frankfurt.
- Bauer, G. 1988 *Sprache und Sprachlosigkeit im „Dritten Reich“*, Köln.
- Behrenbeck, S. 1996 „Der Führer“. Die Einführung eines politischen Markenartikels. In: G. Diesener/ R. Gries (eds.), *Propaganda in Deutschland. Zur Geschichte der politischen Massenbeeinflussung im 20. Jahrhundert*, Darmstadt.
- Bering, D. 1982 *Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes*, Frankfurt/Berlin/Wien.
- Bonnell, V.E. 1997 *Iconography of Power. Soviet Political Posters under Lenin and Stalin*, Berkeley/Los Angeles.
- Bullock, A. 1998 *Hitler and Stalin. Parallel lives*, London.
- Courtois, S. / Werth, N. / Panné, J.-L. e.a. 1998 *Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror*, München/Zürich.
- Diesener, G./Gries, R. (eds.) 1996 *Propaganda in Deutschland. Zur Geschichte der politischen Massenbeeinflussung im 20. Jahrhundert*, Darmstadt.
- Ehlich, K. (ed.) 1995 *Sprache im Faschismus*, Frankfurt am Main.
- Emmerich, W./ Wege, C. (eds.) 1995 *Der Technikdiskurs in der Hitler-Stalin-Ära*, Stuttgart/Weimar.
- Ennker, B. 1997 *Die Anfänge des Lenin-Kults in der Sowjetunion*, Köln/Weimar/Wien.
- Finková, D./ Petrová, S. 1986 *The militant poster 1936-1985*, Prague.
- Grimm, G. 2002 „Mein Kampf“ und „Meine Taten“. Hitlers „Rechenschaftsbericht“ und die „Res gestae“ des Kaisers Augustus. In: *Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 33/2002*.

- Guldin, R. 2002 *Körpermetaphern. Zum Verhältnis von Medizin und Politik*, Frankfurt/Bern.
- Günther, H. 1993 *Der sozialistische Übermensch. Maksim Gor'kij und der sowjetische Heldenmythos*, Stuttgart/Weimar.
- Hartmann, A./ Eggeling, W. 1995 Das zweitranigige Deutschland – Folgen des sowjetischen Technik- und Wissenschaftsmonopols für die SBZ und die frühe DDR. In: W. Emmerich/C. Wege (eds.), *Der Technikdiskurs in der Hitler-Stalin-Ära*, Stuttgart/Weimar.
- Heid, L. Was der Jude glaubt, ist einerlei...“. Der Rassenantisemitismus in Deutschland. In: Jüdisches Museum der Stadt Wien (ed.), *Die Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile und Mythen*. Wien: Picus Verlag.
- Herf, J. 1995 Der nationalsozialistische Technikdiskurs. Die deutschen Eigenheiten des reaktionären Modernismus. In: W.Emmerich/C. Wege (eds.), *Der Technikdiskurs in der Hitler-Stalin-Ära*, Stuttgart/Weimar.
- Heyen, F.-J. (ed.) 1983 *Parole der Woche. Eine Wandzeitung im Dritten Reich 1936-1943*, München.
- Jurovskij, V. 2001 Ein Vergleich des sowjetischen Heldenkults der dreißiger und sechziger Jahre. In: *Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte* 5/1 2001.
- Kämpfer, F. 1985 „Der rote Keil“. *Das politische Plakat, Theorie und Geschichte*, Berlin.
- Kittler, F. 1995 Auto Bahnen. In: W. Emmerich/C. Wege (eds.), *Der Technikdiskurs in der Hitler-Stalin-Ära*, Stuttgart/Weimar.
- Klemperer, V. 1946/1982 *LTI. Lingua Tertii Imperii. Die Sprache des Dritten Reichs. Notizbuch eines Philologen*, Frankfurt am Main.
- Kummer, R. 2000 Ljubi Rodinu bol'se žizni – Ja bol'se ne mogu: Der plakatpropagandistische Todesdiskurs im Spannungsfeld der Gut-Böse-Dichotomie. In: D. Weiss (ed.), *Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen)*, Bern/Frankfurt.
- Kunze, K. 1998 *dtv-Atlas Namenskunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet*, München.
- Maas, U.1984 „Als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand“. *Sprache im Nationalsozialismus. Versuch einer historischen Argumentationsanalyse*, Opladen.
- Maas, U. 1995 Sprache im Nationalsozialismus. Analyse einer Rede eines Studentenfunktionärs. In: K. Ehlich (ed.), *Sprache im Faschismus*, Frankfurt am Main.
- Medwedjew, Sh. A. 1974 *Der Fall Lysenko. Eine Wissenschaft kapituliert*, München.
- Müller, D. 1998 *Der Topos des Neuen Menschen in der russischen und sowjetrussischen Geistesgeschichte*, Bern.
- Münkler, H. 1994 *Politische Bilder, Politik der Metaphern*, Frankfurt am Main.
- Münkler, H./ Storch, W. 1988 *Siegfrieden. Politik mit einem deutschen Mythos*, Berlin.
- Neumayr, A. 1995 *Diktatoren im Spiegel der Medizin. Napoleon • Hitler • Stalin*, Wien.
- Schmitz-Berning, C. 2000 *Vokabular des Nationalsozialismus*. Berlin.
- Schmiechen-Ackermann, D. 2002 *Diktaturen im Vergleich*, Darmstadt.
- Schütz, E. 1995 Faszination der blaßgrauen Bänder. Zur „organischen“ Technik der Reichsautobahn. In: W. Emmerich/C. Wege (eds.), *Der Technikdiskurs in der Hitler-Stalin-Ära*, Stuttgart/Weimar.
- Sériot, P. 1985 *Analyse du discours politique soviétique*, Paris.
- Steinke, K. (ed.) 1995 *Die Sprache der Diktaturen und Diktatoren*, Heidelberg.
- Volmert, J. 1995 Politische Rhetorik des Nationalsozialismus. In: K. Ehlich (ed.), *Sprache im Faschismus*, Frankfurt am Main.
- Weiss, D.1986 Was ist neu am Newspeak? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion. In: R. Rathmayr (ed.), *Slavistische Linguistik 1985*, München.
- Weiss, D. 1995 Prolegomena zur Geschichte der verbalen Propaganda in der Sowjetunion. In: D. Weiss (ed.), *Slavistische Linguistik 1994. Referate des 20. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens*, München.
- Weiss, D. 1998 Die Entstalinisierung des propagandistischen Diskurses (am Beispiel der Sowjetunion und Polens). In: Locher, J.P. (ed.), *Schweizer. Beiträge zum XII. Internationalen Slavisten-Kongress 1998 in Krakau*, Frankfurt/Bern.
- Weiss, D. 1999a Der alte Mann und die neue Welt. Chruščevs Umgang mit „alt“ und „neu“. In: W. Girke/A. Guski e.a. (eds.), *Vertogradъ mnogocvĕtnyi. Festschrift für H. Jachnow*, München.
- Weiss, D. 1999b Mißbrauchte Folklore? Zur propagandistischen Einordnung des „sovetskij fol'klor“. In: R. Rathmayr/W. Weitlaner (eds.), *Slavistische Linguistik 1998. Referate des XXIV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Wien, 15.-18.9.1998*, München.
- Weiss, D. (ed.) 2000 *Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen)*, Bern/Frankfurt.
- Weiss, D. 2000a Die Verwesung vor dem Tode. N.S. Chruščevs Umgang mit Fäulnis-, Aas- und Müllmetaphern. In: D. Weiss (ed.), *Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen)*, Bern/Frankfurt.
- Weiss, D. 2000b Alle vs. einer. Zur Scheidung von good guys und bad guys in der sowjetischen Propagandasprache. In: W. Breu (ed.), *Slavistische Linguistik 1999. Referate des XXV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Konstanz*, München.
- Weiss, D. 2002 Personalstile im Sowjetsystem? Stalin und Chruščev im Vergleich. In: N. Boškowska/P. Collmer/S. Gilly u.a., *Wege der Kommunikation in der Geschichte Osteuropas. Festschrift für C. Goehrke*, Bern/Frankfurt, 223-252.
- Weiss, D. 2003 Uniting the Communist system: the making of Polish “newspeak” and its relation to the Russian original. St.Ureland (ed.), *Studies in Eurolinguistics. Vol. 1: Convergence and Divergence of European Languages*, Berlin.
- Winckler, L. 1970 *Studie zur gesellschaftlichen Funktion faschistischer Sprache*, Frankfurt am Main.
- Wirrer, J. 1995 Dialekt und Standardsprache im Nationalsozialismus – am Beispiel des Niederdeut-

schen. In: K. Ehlich (ed.), *Sprache im Faschismus*, Frankfurt am Main.

Wodak, R. (ed.) 1989 *Language, Power and Ideology. Studies in Political Discourse*, Amsterdam (Philadelphia).

Wodak, R. / Kirsch, F.P. (eds.) 1995 *Totalitäre Sprache – Langue de bois – Language of Dictatorship*, Wien.

© Вайс Даниэль, 2007

© Бернольд Анна (перевод), 2007

Васильев А. Д.

Красноярск, Россия

ИГРЫ В СЛОВА:

НАСЕЛЕНИЕ ВМЕСТО НАРОДА

Abstract

In political communication, seemingly similar words "population" and "nation" do differ in emotional colouring. The usage of these words may depend on the author's ideological persuasion.

Лексикографам хорошо известны трудности, возникающие при попытках семантизации слов, особенно, как ни парадоксально, широкоупотребительных и частотных, более того – неизменно актуальных для носителей данного языка в разные периоды его истории. Решение подобных задач может осложняться и в тех случаях, когда необходимо дифференцировать значения слов, весьма близких и в речевом потоке нередко выступающих в роли чуть ли не дублетов (т.е. одно из них с определенным успехом может заменить собой другое – и наоборот). Правда, при рассмотрении слов, входящих в один синонимический ряд, обычно представляется возможным выделить его доминанту (определяемую, напр., как «один из членов синонимического ряда, избираемый в качестве представителя главного значения, подчиняющего все дополнительные (созначения) и господствующего над ними» [Ахманова 1966: 401], или слово «семантически наиболее простое, стилистически нейтральное и синтагматически наименее закрепленное» [Новиков 1990: 447], хотя, наверное, семантическая простота лексемы – довольно дискуссионное понятие). Казалось бы, вопрос о стилистической нейтральности того или иного конкретного слова достаточно прозрачен: предполагаемая доминанта ряда в идеале должна быть свободна от каких бы то ни было коннотаций. Считают справедливым положение о том, что «отношения маркированности присутствуют во всех случаях, где язык предоставляет своим носителям возможность выбора» [Трубачёв 2005: 227] – иначе говоря, из двух номинаций одного и того же референта одно имеет статус маркированного, а другое – нет (и оно-то оказывается доминантой данного двучленного синонимического ряда). Однако представляется, что не всегда (а может быть, и далеко не всегда) существует возможность такого проти-

вопоставления: немаркированная номинация (доминанта) / маркированная номинация (синоним). Иначе говоря, коннотативные потенции реализуются в обоих случаях, что позволяет судить не только об узусе.

Трудности семантизации слов, близких по своим лексическим значениям, хорошо знакомы как лингвистам, так и представителям других гуманитарных наук, причем и в тех случаях, когда речь идет об элементах соответствующих терминосистем. Решение таких задач особенно осложняется тем, что одни и те же лексемы выступают, с одной стороны, в качестве терминов, среди важнейших критериев вычленения которых – их стилистическая нейтральность. С другой стороны, они могут продолжать бытование в составе общеупотребительной лексики, при этом зачастую обладая коннотациями либо коннотативными потенциями, реализующимися, как правило, вследствие экстралингвистических условий.

Даже беглые наблюдения показывают, что в текстах современных российских СМИ частотность употребления существительного *народ* заметно снизилась по сравнению с советским периодом (это регистрирует и лексикография, указывающая на уход этого слова в пассивный лексический запас). В то же время растет употребительность существительного *население*. Можно предположить, что эти процессы отнюдь не случайны и определяются воздействием неких факторов, имеющих в том числе и глубокие исторические корни. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть динамику слов *народ* и *население* в нескольких аспектах.

Конечно, прежде всего следует иметь в виду, что исторические (даже и на уровне микродиахронии) изменения словарного состава нередко свидетельствуют об изменениях ментальности (иногда – и о чьих-то попытках изменить её). Ментальность – «миросозерцание в категориях и формах родного языка, в процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [Колесов 2004: 15]. Трансформировать ментальность, таким образом, можно с помощью «обратной связи», то есть путем регулирования частотности каких-то слов и устойчивых словосочетаний, их переосмысления, придания им коннотаций, стилистической маркированности либо ремаркации и проч. С течением времени – при условии определенной настойчивости пропагандистов и агитаторов (иначе – политтехнологов) и эффективности имеющих у них технических возможностей, времени исторически непродолжительного – в сознании этносоциума, носителя конкретного языка и соответствующей ментальности, происходят метаморфозы, программируемые идеологами-языкотворцами.